
ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА

ГЕРМАНИЯ

ИЗБРАННЫЕ СОЧИНЕНИЯ
НОВАЛИСА

NOVALIS
(FRIEDRICH VON HARDENBERG)

1772—1801

ПОД РЕДАКЦИЕЙ
В. А. ЗОРГЕНФРЕЯ



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА

НОВАЛИС
У. (ФРИДРИХ ФОН ГАРДЕНБЕРГ)

ГЕЙНРИХ ФОН ОФТЕРДИНГЕН



ПЕРЕВОД З. ВЕНГЕРОВОЙ и
В. ГИППИУСА. ВСТУПИТЕЛЬ-
НАЯ СТАТЬЯ З. ВЕНГЕРОВОЙ



ПЕТЕРБУРГ МСМХХІІ

О Г Л А В Л Е Н И Е.

| | СТРАН. |
|--|--------|
| Новалис—очерк Э. Венгеровой | 7— 11 |
| Предисловие переводчика стихов—В. Гиллиуса . . . | 12— 14 |
| Посвящение | 15— 16 |

Первая часть. ОЖИДАНИЕ.

| | |
|------------------------|---------|
| Глава первая | 19— 26 |
| » вторая | 27— 37 |
| » третья | 38— 53 |
| » четвертая | 54— 63 |
| » пятая | 64— 89 |
| » шестая | 90—102 |
| » седьмая | 103—108 |
| » восьмая | 109—115 |
| » девятая | 116—140 |

Вторая часть. СВЕРШЕНИЕ.

| | |
|--|---------|
| Монастырь или преддверие | 143—160 |
| Продолжение «Гейнриха фон Офтердинген» в изло- жении Людвига Тика | 161—171 |
| Библиография | 173—174 |

Настоящее издание отпечатано
в 9-й Государственной типогра-
фин (Петербург. Моховая, 40) в
количестве 5.500 экземпляров



A 633474

ПОСВЯЩЕНИЕ

Ты вызвала высокие мечты,
Огромный мир манил в твоих призывах.
С тех пор как ты со мною, нет пугливых
Сомнений и не страшно темноты.

В предчувствиях меня взростила ты,
Со мной на сказочных бродила нивах,
И, как прообраз девушек счастливых,
Звала к очарованиям чистоты.

Зачем же сердце с суетою слито?
Ужели жизнь и сердце—не твои?
И в этом мире ты мне—не защита?

Меня умчат поэзии ручьи,
Но, муза милая, тебе открыты
Все замыслы заветные мои.

*

Взывает к нам, меняясь всякий час,
Поэзии таинственная сила.
Там вечным миром мир благословила,
Здесь юность вечную струит на нас.

Она, как свет для наших слабых глаз,
Любить прекрасное сердцам судила,
Ей упоен и бодрый и унылый
В молитвенный и смятенный час.

И грудь ее дала мне утоление;
Ее веленьем стал я сам собой
И поднял взор от прежнего томленья.

Еще дремал верховный разум мой,
Но, чуя в ангеле ее явленье,
Лечу в ее объятьях—с ней одной.



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ОЖИДАНИЕ

НОВАЛИС

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Родители уже лежали и спали, стенные часы однообразно тикали, за хлопающими окнами свистел ветер; комната по временам озарялась лунным сиянием. Юноша метался на постели и думал о незнакомце и его рассказах.

— Не сокровища так невыразимо привлекают меня,—говорил он себе самому,—жадность чужда моей душе: я мечтаю лишь о том, чтобы увидеть голубой цветок. Он неустанно занимает мои мысли, я не могу ни писать, ни думать о чем-либо другом. Я никогда не испытывал ничего подобного: точно все прежнее было сном, или точно я пронесся во сне в другой мир. В том мире, в котором я жил, никто бы не стал думать о цветах; а про такую особенную страсть к цветку я даже никогда и не слышал. Откуда собственно явился незнакомец? Никто из нас никогда не видал такого человека; не знаю, почему только я один был так потрясен его речами; другие тоже слушали его, но ни с кем не случилось того, что было со мной. Не могу даже объяснить словами свое странное состояние. Я часто ощущаю изумительную отраду, и только когда я не вполне ясно представляю себе цветок, на меня нападает глубокая тревога: этого никто не поймет и не может понять. Мне казалось бы, что я сошел с ума, если бы я не признавал все в себе с такой ясностью, не мыслил бы так отчетливо; я точно все лучше знаю. Я слышал, что в древние времена животные, деревья и скалы разговаривали с людьми. У меня теперь такое чувство, точно они каждую минуту опять собираются заговорить, и я как бы ясно вижу, что они хотят мне сказать. Есть, вероятно, еще много слов, которых я не знаю: знай я их больше, я бы мог лучше их постичь. Прежде я любил танцевать, теперь я предпочитаю думать под музыку.— Юноша постепенно забылся

в сладкой дреме и заснул. Ему приснилась сначала безграничная даль и дикие неведомые места. Он переплывал моря с непостижимой легкостью; он видел странных зверей; он жил с различными людьми, то среди битв, то в диком смятении, то в таких селениях. Он попал в плен и в страшную нужду. Все ощущения достигли в нем неведомой до того напряженности. Он прожил бесконечно пеструю жизнь, умер и снова родился, любил с безумной страстью, и затем снова настала вечная разлука с возлюбленной. Наконец, под утро, когда стало светать, буря в его душе стихла, и образы сделались более ясными и устойчивыми. Ему казалось, что он бродит один в темном лесу. Лишь изредка пробивался свет сквозь зеленую сеть. Вскоре он подошел к ущелью, которое вело вверх. Ему пришлось карабкаться по мшистым камням, когда-то снесенным вниз потоком. Чем выше он подымался, тем лес все более светлел. Наконец, он дошел до маленького дуга—склона горы. За дугом высился утес, у подножия которого он увидел отверстие, оно казалось началом прохода, вырубленного в утесах. По этому внутреннему ходу он шел прямо несколько времени и дошел до широкого выхода, откуда сверкнул ему навстречу яркий свет. Приблизившись, он увидел мощный луч, поднимавшийся, как струя фонтана, до самого потолка: там он рассыпался на бесчисленные искры, которые собирались внизу в большом бассейне; луч сверкал, как зардевшееся золото. Не слышно было ни малейшего звука; священная тишина окружала дивное зрелище. Он приблизился к бассейну, искрившемуся разноцветными переливами света. Стены пещеры были покрыты этой влагой, не горячей, а прохладной; она светилась слабым голубоватым светом. Он погрузил руку в бассейн и омочил свои губы. Его точно пронизало веяние духа, и он почувствовал себя укрепленным и освеженным. Его охватило непреодолимое желание выкупаться; он снял одежду и вошел в бассейн. Тогда его точно окутало вечернее облако; небесное чувство охватило его: несчетные мысли сладострастно сливались в нем; возникали новые, никогда невиданные образы, которые тоже сливались и превращались в воплощенные существа, и каждая из волн нежной стихии льнула к нему, как нежная грудь. В потоке точно растворились юные девы, обретавшие плоть от прикосновения к юноше.

Опьяненный восторгом и все же вполне сознательно воспринимаемая каждое ощущение, он медленно плыл вдоль сверкающего потока, который вливался из бассейна в утесы. Его охватила нежная дремота, и ему снились неописуемые происшествия; затем его прсбудило новое просветление. Он очутился на мягком лугу у края ручья, точно вливающегося в воздух и в нем исчезающего. Темно-синие скалы с пестрыми жилами возвышались на некотором расстоянии; окружавший его дневной свет был яснее и мягче обыкновенного; небо было черно-синее и совершенно чистое. Но с наибольшей силой привлекал его голубой цветок, который рос у ручья, касаясь его своими широкими, блестящими листьями. Цветок окружали бесчисленные другие цветы всевозможной окраски, и в воздухе носилось чарующее благоухание. Но он ничего не видел, кроме голубого цветка, и долго разглядывал его с невыразимой нежностью. Наконец, ему захотелось приблизиться к цветку; но цветок вдруг зашевелился и вид его изменился; листья сделались более блестящими и прижались к растущему стеблю, цветок склонился к нему и лепестки образовали широкий голубой воротник, из которого выступало нежное личико. Его радостное изумление все возрастало при виде странного превращения, как вдруг его разбудил голос матери, и он проснулся в родительском доме, в комнате, уже озаренной золотыми лучами утреннего солнца. Слишком очарованный, чтобы рассердиться за то, что его разбудили, он приветливо поздоровался с матерью и поцеловал ее.

— Ах ты соня,—сказал отец.— Я-то уже давно сижу здесь и пишу. Из-за тебя мне запретили стучать молотком; мать не хотела, чтобы тревожили сон ее сына. И завтрака мне тоже еще не дают. Ты умно сделал, что избрал учительское дело; мы для него трудимся и не спим. Но хороший ученый, как мне говорили тоже должен ночей не досыпать, чтобы успеть изучить великие произведения мудрых предшественников.

— Милый отец,—ответил Гейнрих,—не гневайтесь за мой долгий сон, мне несвойственный. Я очень поздно заснул и мне снилось много тревожного; потом только приснился приятный сон. Его я долго не забуду и, мне кажется, это не был простой сон.

— Милый Гейнрих,—сказала мать,—ты верно лег на спину,

или же думал о постороннем во время вечерней молитвы. И вид у тебя какой-то странный. Позавтракай скорее, чтобы придти в себя.

Мать вышла из комнаты, а отец, продолжая усердно работать, сказал:

— Сны ничто иное, как пена, что бы ни говорили ученые господа; и лучше, если бы ты не предавался бесполезным и вредным мыслям. Прошли времена, когда сны соединялись с божественными откровениями; мы даже понять не можем и никогда не поймем, что испытывали те избранники, о которых говорит Библия. В то время, вероятно, сны были другие, и все человеческое было иным.

В наш век нет уже непосредственного общения с небом. Старые сказания и писания—единственные источники, из которых мы можем черпать познания о надземном мире, поскольку нам это нужно; и, вместо прямых откровений, святой дух общается с нами теперь через посредство умных и благородных мужей, проявляется в жизни и в судьбе людей благочестивых. Чудеса наших дней никогда не трогали меня, и никогда я не верил в их великое значение, о котором говорят наши священники. Но, конечно, кто хочет, пусть верит; я не стану смущать ничьей веры.

— Но почему же, милый отец, вы так восстаете против снов, которые должны вызывать на размышления своей легкостью и странными превращениями? Разве всякий, хотя бы самый спутанный сон не представляет собой нечто странное и даже если не кажется ниспосланным Богом, все же как бы разрывает таинственную завесу, которая окутывает тысячью складок нашу душу? В самых мудрых книгах есть рассказы достовернейших людей о замечательных снах. вспомните сон, о котором недавно рассказал нам почтенный придворный капеллан; сон этот и вам показался очень замечательным.

Но и помимо чужих рассказов, если бы вам в первый раз в жизни приснился сон, до чего бы это удивило вас. Вы бы считали чудом событие, которое сделалось для нас будничным. Мне сны кажутся оплотом против правильности и обыденности жизни, отдыхом для скованной фантазии; она перемешивает во сне все жизненные представления и прерывает радостной детской игрой постоянную серьезность взрослого человека. Без снов мы бы,

наверное, все раньше состарились; и поэтому можно считать сон если и не непосредственным даром свыше, то все же божественной милостью, дружественным спутником на пути к Гробу Господню. Сон, который я видел сегодня ночью, наверное, не пустая случайность в моей жизни. Я чувствую, что он захватил мою душу, как большое колесо, и властно мчит ее вдаль.

Отец дружески улыбнулся и сказал, взглянув на мать, которая вошла в эту минуту в комнату:

— Послушай, мать, Гейнрих ясно свидетельствует всем своим существом о чаше, которому он обязан жизнью. В его речах кипит пламенное итальянское вино, которое я тогда привез из Рима и которое так пьянило всех на нашем свадебном пиру. Я был в то время еще другим человеком. Южный воздух оживил меня, я был полон отваги и веселья, и ты тоже была горячая, очаровательная девушка. Какой тогда твой отец устроил дивный пир! Музыканты и певцы собрались со всех сторон; в Аугсбурге долго после того не было более веселой свадьбы.

— Вы говорили о снах,—сказала мать.— Помнишь, ты мне тогда тоже рассказывал о сне, который тебе приснился в Риме? Сон этот и побудил тебя ехать в Аугсбург и просить моей руки.

— Ты как раз во время напомнила мне о нем,—сказал старик.—Я совсем забыл про тот странный сон, долгое время меня занимавший; но он подтверждает то, что я говорил о снах. Трудно представить себе нечто более определенное и ясное; я и теперь помню каждую подробность этого сна. Но разве в нем был какой-нибудь смысл? То, что я видел тебя во сне и вскоре после того охвачен был влечением к тебе, совершенно естественно; я тебя уже раньше знал. Ты сразу пленила меня приветливой прелестью твоего существа, и только жажда увидеть чужие страны сдерживала мое желание обладать тобою. В то время, когда мне приснился сон, моя любознательность уже в значительной степени улеглась, и чувство к тебе могло легче одержать верх.

— Расскажите нам этот странный сон,—сказал сын.

— Однажды вечером,—начал отец,—я пошел бродить. Небо было чистое; месяц озарял древние колонны и стены бледным жутким светом. Мои товарищи пошли увиваться за девушками, и мне тоже

не сиделось дома; тоска по родине и любовь томили меня. После долгой ходьбы мне захотелось пить, и я вошел в первый встречный деревенский дом, чтобы попросить глоток вина или молока. Ко мне вышел старый человек, которому я, вероятно, показался очень подозрительным гостем. Я попросил его дать мне напиток, и когда он узнал, что я иностранец и немец, он вежливо позвал меня в комнату, принес бутылку вина, попросил меня сесть и спросил, чем я занимаюсь. Комната была полна книг и разных древностей. Мы вступили в длинную беседу; он много рассказывал мне о старых временах, о художниках, о ваятелях и поэтах. Никогда еще я не слышал таких речей. Я как бы высадился на берег в новом мире. Он показал мне разные печати и другие предметы художественной работы, потом пламенно прочел несколько прекрасных стихотворений, и время проходило, как единое мгновение. И теперь еще сердце мое преисполняется радостью, когда я вспоминаю пестроту дивных мыслей и чувств, охвативших меня в ту ночь. В языческих временах он чувствовал себя, как дома, и страстно рвался в мечтах обратно в седую древность. Наконец, он провел меня в комнату, где предложил провести остаток ночи; было уже слишком поздно, чтобы возвращаться домой. Я вскоре заснул и мне показалось, точно я в родном городе и выхожу за городские ворота. Я будто должен был куда-то идти, но не знал, куда и зачем. Я быстрыми шагами накравился в горы, и на душе было так хорошо, точно я спешил к венцу. Я шел не по большой дороге, а полем через долины и леса, и вскоре очутился у высокой горы. Поднявшись на вершину ее, я увидел золотистую равнину; передо мной простиралась вся Тюрингия; ни одна гора по близости не застилала мне взор. Против меня высился темный Гарц и я увидел бесчисленные замки, монастыри и деревни. Тогда мне сделалось еще отраднее на душе, и в ту же минуту мне вспомнился старик, у которого я ночевал; мне казалось, что прошло много времени с тех пор, как я у него был. Вскоре я увидел лестницу, которая вела в глубь горы, и стал спускаться по ней. Долгое время спустя, я очутился в большой пещере; там сидел старец в длинной одежде перед железным столом и неотступно глядел на стоящее перед ним мраморное изваяние дивно-прекрас-

ной девушки. Борода старца проросла через железный стол и покрывала ему ноги. У него было ласковое, вдумчивое лицо, и он напомнил мне старинное изваяние, которое я видел в этот вечер у моего хозяина. Пещера была озарена ярким светом. Когда я так стоял и смотрел на старика, мой хозяин вдруг хлопнул меня по плечу, взял меня за руку и повел меня за собой по длинным переходам. Через несколько времени я увидел пробивавшийся издали дневной свет. Я быстро направился к свету и вскоре очутился на зеленой равнине. Но все казалось мне не таким, как в Тюрингии. Огромные деревья с большими блестящими листьями бросали тень далеко вокруг себя; было очень жарко, но никакой духоты не чувствовалось. Всюду были ручьи и цветы; из всех цветов один понравился мне больше всего, и мне казалось, что все другие цветы склоняются перед ним.

— Ах, милый отец, скажите мне, пожалуйста, какого цвета был этот цветок?—взволнованно спросил сын.

— Этого я не помню, хотя все другое совершенно ясно запечатлелось в моей памяти.

— Не был ли он голубой?

— Возможно,—продолжал старик, не обращая внимания на странное возбуждение Гейнриха.—Знаю только, что мною овладело какое-то невыразимое чувство, и я долго не оборачивался к моему спутнику. Когда же я взглянул на него, то заметил, что он очень внимательно смотрел на меня и с искренней радостью улыбался мне. Как я ушел оттуда, совсем не помню. Я снова очутился на вершине горы. Мой спутник стоял подле меня и сказал мне: «Ты видел чудо мира. Ты можешь стать самым счастливым человеком на свете и, кроме того, еще прославиться. Запомни, что я тебе говорю: если ты в Иванов день придешь сюда под вечер и от души попросишь Господа, чтобы тебе дано было понять этот сон, то на твою долю выпадет величайшее земное блаженство. Тогда обрати внимание на голубой цветок, который ты здесь найдешь. Сорви его и смиренно отдайся воле неба». После того я очутился во сне среди дивных существ и множества людей, и неисчислимые времена пронеслись перед моими взорами в игре разнообразных изменений. У меня точно развязался язык, и то, что я произно-

сил, звучало как музыка. Потом все снова сделалось тесным, темным, обыденным; я увидел перед собой твою мать с кротким, стыдливым взором. Она держала в руках сияющего младенца и протянула его мне; тогда младенец стал вдруг расти и становился все более светлым и сверкающим. Потом он поднялся вдруг в высь на ослепительно белых крыльях, взял нас обоих в свои объятия и улетел с нами так высоко, что земля казалась золотым блюдом, украшенным красивой резьбой. Потом помню я еще, что снова появились цветок, гора и старец; но вскоре после того я проснулся и почувствовал себя охваченным пламенной любовью. Я простился с моим радушным хозяином, который попросил меня почаще его навещать. Я ему это обещал и сдержал бы слово, но вскоре после этого оставил Рим и помчался в Аугсбург.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Иванов день миновал; мать давно уже собиралась съездить в Аугсбург к отцу с милым внуком, которого он еще не знал. Несколько купцов, добрых друзей старого Офтердингена, отправлялись туда по торговым делам. Мать решила воспользоваться этим, чтобы выполнить свое желание. Ей тем сильнее хотелось ехать, что уже несколько времени она замечала перемену в сыне; он притих и сделался более замкнутым, чем обыкновенно. Она думала, что он расстроен или болен, и полагала, что далекое путешествие, вид новых людей и новых стран, а также, как она втайне надеялась, чары одной из ее молодых землячек рассеют его грусть и вернут ему его прежнюю отзывчивость и жизнерадостность. Отец дал свое согласие, и Гейнрих бесконечно обрадовался, что попадет в край, который уже давно представлял себе. по рассказам матери и некоторых путешественников, каким-то раем на земле и куда часто тщетно стремился попасть.

Гейнриху только что исполнилось двадцать лет. Он никогда еще не уезжал дальше окрестностей родного города: свет он знал только по рассказам. Книг ему тоже мало попадалось на глаза. При дворе ландграфа, по обычаю того времени, жизнь была простая и тихая. Пышность и жизненные удобства владетельного князя едва ли могли бы сравниться с теми удовольствиями, которые в позднейшее время мог предоставить себе и своей семье, не будучи расточительным, всякий частный человек со средствами. Но зато любовь к предметам, которыми люди окружали себя в своем обиходе, была тем более нежной и глубокой. Люди больше ценили вещи, больше восхищались ими. Тайна природы и происхождения простых тел сама по себе привлекала пытливый ум, а более ред-

костный дар обработки предметов, романтическая даль, откуда они получались, священное обаяние старины—более тщательно собранные предметы становились часто достоянием нескольких поколений—еще более усиливали любовь к этим немым свидетелям жизни. Часто им поклонялись, как священным залогам особого благословения, особенной судьбы, и с их сохранностью связывали благополучие целых государств и широкоразветвленных родов. Благообразная бедность украшала те времена своеобразно вдумчивой и чистой простотой, и бережливо распределенные сокровища тем ярче блистали в этих сумерках, преисполняя чуткие души волшебными чаяниями. Если правда, что нужно искусно распределить свет, краски и тени, чтобы выявить скрытую красоту видимого мира, ибо этим как бы создается новое, более проникновенное зрение, то подобного рода распределение существовало тогда повсюду. Сравнительно с прошлым позднейшее время, более состоятельное, представляет однообразную и более серую картину будничности. Во всех промежуточных эпохах прорывается более высокая духовная сила. Как на поверхности земли наиболее богатые подземными и надземными сокровищами местности расположены между дикими неприступными горами и необозримыми равнинами, так и между веками грубого варварства и эпохами богатства, расцвета искусства и науки, расположилась вдумчивая романтическая эпоха, таящая величие под скромным одеянием. Всякому отрадно бродить в сумерки, когда ночь, встречаясь со светом, и свет, встречаясь с ночным мраком, распадаются на более тонкие тени и краски; мы охотно поэтому углубляемся в те годы, когда жил Гейнрих и когда он шел с открытым сердцем навстречу новым событиям. Он попрощался со своими товарищами и с учителем, старым, мудрым придворным капелланом, который знал, как богато одарен Гейнрих, и отпустил его с строгом сердцем и тихой молитвой. Ландграфиня была его крестной матерью; он часто бывал у нее в Варбурге. И теперь он тоже отправился перед отъездом к своей покровительнице. Она дала ему добрые советы, подарила золотую цепь и ласково простилась с ним.

С грустью покинул Гейнрих отца и родной город. Он впервые

понял, что значит разлука. Когда он представлял себе путешествие в мечтах, это не сопровождалось тем странным чувством, которое он испытывал теперь: впервые то, что составляло его мир, оторвалось от него, и его точно выкинуло на чужой берег. Бесконечно велика юношеская скорбь, когда впервые обнаруживается брэнность того, что должно казаться нескушенной душе неразрывно связанным с самой сущностью бытия, столь же неизменным как оно. Подобно первому напоминанию о смерти, первая разлука остается навсегда памятной; после того, как она долго пугала, точно призрак в ночи, она становится, наконец, при падающей отзывчивости на событие дня, при возрастающем стремлении к твердому неизлему миру, добрым вожатым и утешителем. Близость матери очень утешала юношу. Старый мир казался не окончательно утраченным, и он льнул к нему с удвоенной нежностью. Было раннее утро, когда путники выехали верхом из ворот Эйзенаха, и утренний полусвет был отраден взволнованным чувствам Гейнриха. По мере того, как становилось светлее, перед его взорами все яснее выступали новые незнакомые места; и когда с высоты холма покинутая местность вдруг озарилась восходящим солнцем, в душе изумленного юноши пробудились старые песни души, нарушая ход его печальных мыслей. Он увидел себя на пороге дали, в которую часто и тцетно вглядывался с близких гор и которую рисовал себе в небывалых красках. Теперь он окунется в ее синий поток. Чудесный цветок стоял перед ним, и он оглянулся на Тюрингию, которую оставлял теперь позади себя, с странным предчувствием, что после долгих скитаний вернется на свою родину с той стороны, куда он теперь направляется, и что поэтому он, в сущности, свершает теперь обратный путь домой. Путники, которые все сначала притихли по тем же причинам, что и Гейнрих, понемногу оживились и стали сокращать время разговорами и рассказами. Мать Гейнриха, желая отвлечь сына от дум, в которые он погрузился, стала рассказывать ему о своей родине, о доме отца и о веселой жизни в Швабии. Купцы тоже вмешались в разговор; они все подтверждали рассказы матери, восхваляли гостеприимство старого Шванянга, и говорили о том, как красивы женщины в стране их спутницы.

— Хорошо, что вы везете туда вашего сына,—говорили они.— Нравы вашей родины более мягкие, люди там обходительные. Они умеют заботиться о полезном, не пренебрегая приятным. Каждый старается удовлетворить своим потребностям с очаровательным радушием. Купцам от этого хорошо и они в почете. Искусства и ремесла процветают и облагораживаются. Трудолюбивым работа кажется более легкой, потому что она доставляет много удобств. Взяв на себя однообразный труд, человек за то приобретает уверенность, что может насладиться пестротой различных приятных занятий. Деньги, труд и товары погоняют друг друга в быстром вращении, содействуя расцвету города и деревни. Чем усерднее производительная энергия пользуется днями, тем исключительнее вечера посвящаются очарованиям искусства и общества. Душа жаждет отдыха и разнообразия, а где найти и то и другое в более благопристойном и обаятельном виде, чем в свободных играх и в произведениях благороднейшей силы духа, проникновенного творчества? Нигде не услышишь столь приятных певцов, нигде нет таких великолепных живописцев, нигде не увидишь в танцевальных залах более легких движений, более очаровательных женщин. Близость Италии сказывается в непринужденном обращении и в прелести речей. Женщинам разрешается украшать общество своим присутствием; не страшась злословия, они могут приветливо вызывать соперничество в желании им понравиться. Суровая сосредоточенность и дикая необузданность мужчин уступает место мягкой живости и скромной тихой веселости, и любовь становится в тысяче воплощений душой этих радостных собраний. Это не только не порождает непристойной вольности, а, напротив того, все злое как бы бежит от столь чистой прелести и во всей Германии, наверное, нет более добродетельных девушек и более верных жен, чем в Швабии.

— Да, юный друг, в ясном, теплом воздухе южной Германии вы отбросите свою суровую застенчивость; веселые девушки сделают вас словоохотливым и общительным. Уже то, что вы чужеземец, а также ваше близкое родство со стариком Шванингом, душой всякого веселого сборища, обратит на вас очаровательные взоры девушек; и если вы последуете советам вашего дедушки, то,

наверное, подарите нашему родному городу такое же украшение в лице прекрасной жены, как ваш отец.

Мать Гейнриха, покраснев, ласково поблагодарила за прекрасную похвалу ее родине и за хорошее мнение об ее соотечественниках; задумчивый Гейнрих тоже слушал с большим вниманием и удовольствием рассказы о стране, с которой ему предстояло познакомиться.

— Хотя,—продолжали купцы,—вы и не намерены продолжать профессию вашего отца, предпочитая, как мы слышали, ученые занятия, все же, ведь, вам нет надобности сделаться священником и отказаться от величайших земных наслаждений. Очень печально, что наука сделалась достоянием сословия, столь чуждого мирской жизни. Печально и то, что князья окружены такими необщительными и незнающими жизни людьми. Они живут в одиночестве, не принимая участия в ходе мирских дел, и мысли их поэтому уклоняются в сторону и не соответствуют действительности. В Швабии вы встретите истинно умных и знающих людей среди мирян, и какую бы вы ни выбрали область человеческих знаний, у вас не будет недостатка в наилучших учителях и советчиках.

Помолчав, Гейнрих, которому вспомнился при этих словах его друг, придворный капеллан, сказал:—Хотя, при моем незнании жизни, я и не могу спорить с вами относительно неприспособленности духовных лиц к пониманию мирских дел, все же позвольте мне напомнить вам о нашем почтенном придворном капеллане. Он-то уж несомненно образец мудрого человека и его поучения и советы останутся для меня незабвенными.

— Мы от всей души почитаем этого прекрасного человека,—ответили купцы,—но все же можем согласиться с вами в том, что он **мудрый человек**, лишь поскольку вы говорите о мудрости богоугодной жизни. Если же вы его считаете столь же умным в житейском смысле, насколько он сведущ и опытен в деле спасения души, то позвольте нам быть другого мнения. Но мы полагаем, что это несколько не умаляет заслуживающих всякой похвалы достоинств святого мужа; он только слишком погружен в мысли о небесном, чтобы понимать еще кроме того и земные дела.

— Но мне кажется,—возразил Гейнрих,—что это высшее

знание помогает беспристрастно управлять человеческими делами. Такая детская непосредственная простота может вернее провести через лабиринт человеческих дел, чем разум, ограниченный, вводимый в заблуждение корыстными побуждениями, ослепленный неисчерпаемым числом новых случайностей и запутанных обстоятельств. Не знаю, прав ли я, но я вижу два пути, ведущие к пониманию истории человека. Один путь, трудный и необозримо-далекий, с бесчисленными изгибами—путь опыта; другой, совершаемый как бы одним прыжком—путь внутреннего созерцания. Тот, кто идет по первому пути, должен выводить одно из другого, делая длинные подсчеты, а кто идет по другому—достигает непосредственно сущность каждого события, каждого явления, созерцает его во всех его живых разнообразных соотношениях и может легко сравнить его со всеми другими, как фигуры, начертанные на доске. Простите, если я говорю точно из детских снов; только вера в вашу доброту и воспоминание об учителе, указавшем мне издавеча на второй путь, как на свой собственный, придает смелость моим речам.

— Мы охотно сознаемся,—сказали добродушные купцы.—что не можем следить за ходом ваших мыслей: все же нам приятно, что вы с такой теплотой вспоминаете о вашем прекрасном учителе и так хорошо, повидимому, усвоили его учение. Нам представляется, что у вас есть предрасположение к тому, чтобы сделаться поэтом. Вы так свободно говорите о явлениях вашей душевной жизни и у вас нет недостатка в изысканных выражениях и подходящих сравнениях. Вы также склонны к чудесному, а это стихия поэтов.

— Не знаю,—сказал Гейнрих,—как это случилось; я уже часто слышал про поэтов и певцов, но никогда ни одного не видал. Я даже не могу составить себе ясного представления об их удивительном искусстве, а все же у меня есть страстное желание узнать что-нибудь о нем. Мне кажется, я бы тогда яснее понял многое, о чем теперь лишь смутно догадываюсь. О стихах мне часто говорили, но я никогда не видел ни одного стихотворения, и мой учитель никогда не имел случая изучить поэзию. Все, что он мне об этом говорил, было для меня не ясно. Но он всегда утверждал,

что поэзия благородное искусство, которому я бы весь отдался, если бы когда-нибудь постиг его. В старые времена, по его словам, оно было гораздо более распространено и всякий кое-что знал о нем, при чем больше один от другого. Мой учитель говорил также, что поэзия была сестрой других исчезнувших ныне дивных искусств, что поэты отмечены высокой милостью неба и потому, вдохновляемые невидимой близостью божества, могут в чарующих звуках возвещать на земле небесную мудрость.

Купцы сказали на это:—Мы, правда, никогда не интересовались тайнами поэтов, но все же слушали с удовольствием их песни. Быть может, верно, что нужно особое расположение светил для того, чтобы родился на свет поэт, ибо, действительно, искусство это чрезвычайно своеобразное. Все другие искусства очень отличны от поэзии и все они гораздо более понятны. То, что создают живописцы и музыканты, виднее: их искусству можно научиться при условии прилежания и терпения. Звуки заключены уже в струнах, и нужна только беглая рука, чтобы приводить их в движение и извлекать из них звуки в красивом сочетании. В живописи великолепнейшим учителем является сама природа. Она создает безчисленные, прекрасные и изумительные облики, дает краски, свет и тени, так что достаточно умелая рука, верный глаз и умение готовить и смешивать краски дают возможность в совершенстве воспроизводить природу. Вполне понятно поэтому привлекательность этих искусств, любовь к художественным произведениям. Пение соловья, свист ветра и прелесть красок, игра света, прекрасные существа нравятся нам, приятно волнуя наши чувства. И так как наши чувства таковы, потому что такими их создала природа, создавшая и все другое, то и воспроизведение природы в искусстве тоже должно нам нравиться.

Природа хочет сама ощутить свое великое мастерство и поэтому она претворилась в людей и, таким образом, созерцает в них свое величие, отделяет от предметов их приятность и обаяние и создает и то и другое отдельно, для того, чтобы различнейшим образом всюду и всегда им наслаждаться. Поэзия же, напротив того, не создает ничего внешне осязательного. Кроме

того, она не производит ничего руками или внешними орудиями. Зрение и слух не воспринимают поэзию, ибо слышать слова не значит еще испытывать чары этого таинственного искусства. Оно все сосредоточено внутри. Подобно тому, как в других искусствах художники доставляют приятные ощущения внешним чувствам, поэт наполняет новыми, дивными и приятными мыслями святину души. Он умеет пробуждать в нас по желанию тайные силы и открывает нам через посредство слов неведомый обаятельный мир. Точно из глубоких пещер поднимаются минувшие и грядущие времена, предстают перед нами бесчисленные люди, дивные местности и самые странные события, отрывая нас от знакомой действительности. Мы слышим неведомые слова и все же знаем, что они должны означать. Изречения поэта имеют волшебную силу, и самые простые слова выливаются в прекрасные звуки и опьяняют очарованного слушателя.

— Вы превращаете мое любопытство в пламенное нетерпение, — сказал Гейнрих. — Расскажите мне, прошу вас, о всех певцах, которых вы слышали. Мне хотелось бы без конца слушать про этих особенных людей. Мне вдруг показалось, что я уже когда-то, в самой ранней юности, слышал про них, но я не могу ничего вспомнить. То, что вы говорите, мне чрезвычайно ясно и знакомо, и вы доставляете мне необычайное удовольствие вашими прекрасными описаниями.

— Нам самим приятно вспомнить, — продолжали купцы, — о многих часах, проведенных в Италии, во Франции и в Швабии в обществе певцов, и мы рады, что вы с таким интересом внимаете нам.

Когда путешествуешь в горах, беседа становится вдвойне приятной, и время летит незаметно. Может быть, вас займут несколько интересных рассказов про певцов, которые мы слышали во время путешествий. О том, что нам пели певцы, мы можем мало сказать, потому что радость и возбуждение минуты мешают все запомнить, а, кроме того, постоянные торговые дела тоже стерли многое, что осталось в памяти.

В старые времена вся природа была, вероятно, более живой и восприимчивой, чем в наше время. Многое, что теперь, кажется.

едва замечают даже звери и что чувствуют и с наслаждением воспринимают только люди, в то время ощущалось даже бездушными предметами; поэтому люди, обладавшие высоким художественным даром, создавали тогда много такого, что нам теперь кажется невероятным и сказочным. Так, в древние времена, в пределах теперешнего греческого государства, как нам рассказывали путешественники, слышавшие еще там эти предания в простом народе, были поэты, пробуждавшие дивными звуками волшебных инструментов тайную жизнь лесов, духов, спрятанных в стволах деревьев; они оживляли мертвые семена растений в диких местностях и создавали там цветущие сады, укрощали зверей, смягчали нравы дикарей, вызывали в них кроткие чувства, насаждали мирные искусства, превращали стремительные потоки в тихие воды и даже увлекали мертвые камни в стройные движения мерного танца. Говорят, они были одновременно прорицателями и жрецами, законодателями и врачами: своим волшебством они вызывали высшие существа, которые открывали им тайны грядущего, гармонию и естественный строй всего земного, а также свойства и целебные силы чисел, растений и всех существ. С тех пор, как гласит предание, и возникло разнообразие звуков, а также странные влечения и сочетания в природе: до того все было дико, беспорядочно и враждебно. Странно только то, что хотя прекрасные следы этого и остались на память о благодетелях человеческого рода, но самое их искусство или же тонкое чутье природы утратились. В те времена случилось однажды, что один из этих удивительных поэтов или музыкантов—в сущности музыка и поэзия одно и то же и так же связаны, как рот и уши, так как рот только подвижное и отвечающее ухо—собрался ехать за море в чужую страну; у него было множество драгоценностей и прекрасных вещей, которые люди дарили ему из благодарности. Он увидел у берега корабль, владельцы которого выказывали готовность повезти его туда, куда он желал, за предложенную им плату. Но блеск и красота его сокровищ вскоре возбудили их жадность; они уговорились между собой выбросить певца в море, а затем разделить между собой его имущество. Выйдя в море, они напали на него и сказали, что ему предостит смерть, так как они решили бросить его в воду. Он стал трогательно про-

свить их о пощаде, предложил им в качестве выкупа свои сокровища и предсказал им большое несчастье, если они выполнят свое намерение. Но ни то, ни другое не подействовало на них; они боялись, что он потом выдаст тайну их злодейского умысла. Увидев, что они так твердо стоят на своем, он попросил их позволить ему, по крайней мере, сыграть и спеть перед смертью свою лебединую песню и обещал им после того добровольно броситься в море на их глазах, со своим простым деревянным инструментом в руках. Они отлично знали, что если услышат его волшебную песню, то сердца их смягчатся, и души их охватит раскаяние; поэтому они решили хотя и исполнить его последнюю просьбу, но во время пения заткнуть себе уши, чтобы не услышать звука его голоса и не отказаться от своего решения. Так все и произошло. Певец запел дивную, бесконечно трогательную песню. Весь корабль вторил ему, волны звучали, солнце и звезды появились вместе на небе, а из зеленых вод вынырнули пляшущие стаи рыб и морских чудовищ. Только люди на корабле стояли с враждебными лицами, крепко заткнув уши, и ожидали с нетерпением конца песни. Вскоре пение кончилось. Тогда певец с ясным челом прыгнул в темную бездну, держа в руке свой волшебный инструмент. Но едва только он коснулся сверкающих волн, как тотчас же под ним очутилась широкая спина одного из благодарных ему за песни морских чудовищ, и оно уплыло, умчав на себе изумленного певца. В скором времени оно примчало его к берегу, куда он направлялся, и мягко вынесло его на прибрежный камыш. Певец спел своему спасителю радостную песню в знак благодарности и ушел. Несколько времени спустя, он ходил однажды один по морскому берегу и стал изливать в сладостных звуках свою печаль об утраченных сокровищах, столь дорогих ему, как память о счастливых часах и как знаки любви и благодарности. В то время, как он пел, среди моря вдруг появился его старый друг и, радостно приблизившись к берегу, выкинул на песок из пасти похищенные сокровища. После того, как певец прыгнул в море, начался дележ оставленных им сокровищ; дележ этот привел к спорам и кончился кровопролитной свалкой, стоявшей жизни большинству спорщиков; те немногие, которые остались в живых, не умели управлять кораблем, и он скоро стук-

нулся о берег, разбился и пошел ко дну. Моряки едва спасли свою жизнь и вернулись на берег с пустыми руками и в разорванном платье; таким образом, при помощи благодарного морского животного, нашедшего сокровища на дне морском, они вернулись в руки прежнего владельца.



7688474

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

— Другой рассказ,—продолжали купцы, помолчав,— не такой чудесный и относится к более позднему времени; но и он вам, быть может, понравится и еще ближе познакомит вас с могуществом дивного искусства. Некий старый король жил с большой пышностью. Со всех сторон к его двору стекались люди, чтобы разделить великолепие его жизни; на ежедневных празднествах не было недостатка в обильных яствах, в музыке, в дивном убранстве и одеждах, в тысяче разнообразных зрелищ и увеселений, а также в умных, приятных и ученых людях для беседы и развлечения, в красивых, обаятельных юношах и девушках, составляющих всегда душу приятных пиршеств. У старого короля, строгого и сурового по природе, было два влечения, побуждавших его содержать пышный двор и так прекрасно устроить его. Одним влечением его была нежность к дочери, бесконечно дорогой ему, как память о рано умершей жене, а также потому, что она была невыразимо прекрасна; он бы охотно отдал все сокровища природы и всю силу человеческого духа, чтобы создать ей рай на земле. Другим влечением была его страстная любовь к поэзии и ее творцам. Он с юности с глубоким наслаждением читал произведения поэтов, потратил много усердия и большие деньги на то, чтобы собрать их произведения на всех языках, и всегда выше всего ценил общество певцов. Он привлекал их к своему двору отовсюду и осыпал их почестями. Он готов был непрерывно слушать их песни и часто забывал самые важные дела и даже еду и питье ради новой увлекательной песни. Дочь его выросла среди песен, и вся ее душа была нежной песнью, выражением одной лишь скорби и тоски. Благотворное влияние певцов, пользовавшихся почетом и покровительством, сказывалось во всей стране и, в особен-

ности, при дворе. Жизнью наслаждались медленными, маленькими глотками, как очаровательным питьем, и с тем более чистой радостью, что все низменные злые страсти рассеивались от звуков нежного, гармонического настроения, царившего во всех душах. Душевное спокойствие и блаженное внутреннее созерцание самобытно созданного счастливого мира сделались достоянием этого дивного времени, и о распрях говорилось только в старинных поэтических сказаниях, как о существовавших встарь врагах человечества. Духи песнопения дали, казалось, своему покровителю очаровательнейший знак своей благодарности в лице его дочери, обладавшей всем, что самое нежное воображение может соединить в прелестном образе девушки. На прекрасных пирах она появлялась, окруженная милыми подругами, в сверкающем белом платье, слушала с глубоким вниманием пение вдохновенных певцов во время поэтических состязаний и, краснея, возлагала благоуханный венок на кудри счастливица, песня которого одерживала победу. В эти минуты она казалась воплотившейся душой дивного искусства, создающего волшебные звуки и, глядя на нее, переставали удивляться восторгам и песням поэтов.

Но над этим земным раем витала таинственная судьба. Единственное, что заботило все население, было замужество юной принцессы; от него зависело продление блаженства и судьба всей страны. Король становился все более старым. Он сам был сильно озабочен, и все же не было никаких видов на такое замужество принцессы, которое могло бы всех удовлетворить. Священное благоговение перед королевским домом не позволяло никому из подданных даже мечтать об обладании принцессой. На нее смотрели, как на существо неземное, и все чужеземные принцы, которые появлялись при дворе с притязаниями на ее руку, казались неизмеримо ниже ее; никому даже в голову не приходило, что принцесса или король могут обратить взор на кого-нибудь из них. Сознание своего ничтожества постепенно отпугнуло всех прежних претендентов, и слухи о непреклонной гордости королевской семьи отнимали и у новых охоту подвергнуться унижениям. Эти слухи имели некоторое основание. При всей своей кротости, король почти невольно уверовал в свое величие, и мысль о браке дочери с человеком более

низкого и темного происхождения была для него нестерпима. Ее исключительно высокие качества все более и более укрепляли в нем эти чувства. Он происходил от древних восточных царей. Жена его была последней в знаменитом роде героя Рустана. Певцы короля неустанно пели ему про его родство с прежними сверхчеловеческими властителями мира, и в волшебном зеркале поэзии превосходство его над всеми другими людьми и величие его рода представлялись ему еще более ярко; ему казалось, что он связан с остальным человечеством только через посредство более благородного сословия певцов. Он тщетно искал второго Рустана и печалился, так как чувствовал, что сердце его расцветающей дочери, интересы государства и его старость делают ее брак во всех отношениях чрезвычайно желательным.

Не далеко от столицы жил в уединенном поместье старик, который всецело занят был воспитанием своего единственного сына и, кроме того, лечил сельское население в случаях тяжких болезней. Его сын был вдумчиво нрава и предавался изучению природы; отец руководил занятиями сына с его детских лет. Старик за несколько лет до того приехал издалека в этот мирный цветущий край и тихо наслаждался благотворным миром, водворенным заботами короля. Он пользовался тишиной для изучения сил природы и передавал свои увлекательные знания сыну, который выказывал большой интерес к ним; его глубокой душе природа охотно доверяла свои тайны. Лицо юноши казалось обыкновенным и незначительным тем, кто не умел подмечать высшим чутьем сокровенное в очертаниях его благородного лица и в необычайной ясности глаз. Но чем дольше на него смотрели, тем он казался привлекательнее, и трудно было оторваться от беседы с ним, слыша его нежный проникновенный голос и его очаровательные речи. Однажды принцесса, сады которой примыкали к лесу, окружавшему поместье старика в маленькой долине, поехала одна верхом в лес, чтобы свободно отдаться своим мечтам, повторяя про себя прекрасные песни. Прохлада высокого леса увлекала ее все дальше в тенистую глубину и, наконец, она приехала в поместье, где жил старик с сыном. Ей захотелось напиться молока; она сошла с лошади, привязала ее к дереву и вошла в дом попросить глоток

молока. Сын старика, увидев ее, почти испугался волшебного явления величественной девушки, украшенной всеми чарами юности и красоты и почти обожествленной неопишимо-чарующей прозрачностью нежной, невинной и благородной души. Он выбежал из комнаты, спеша выполнить ее просьбу, звучавшую как пение духов; старик же со скромной почтительностью подошел к ней и пригласил ее сесть у простого очага, расположенного по середине комнаты; легкое голубое пламя бесшумно поднималось вверх из глубины очага. Ее с первого взгляда поразила комната, украшенная множеством редких предметов, чистота и порядок в доме, а также удивительная святость во всем; это впечатление еще усилилось при виде почтенного старца в простой одежде и его скромного, благовоспитанного сына. Старик сразу признал в ней, по ее роскошной одежде и благородной осанке, особу, имеющую отношение ко двору. Пока сына не было в комнате, она стала расспрашивать старика о некоторых достопримечательностях, которые более всего бросились ей в глаза, в особенности, о нескольких странных старинных изображениях, стоявших рядом с ее стулом у очага; он с готовностью дал ей увлекательные объяснения. Сын вскоре вернулся с кувшином свежего молока и передал ей его непринужденно и вместе с тем почтительно. После приятной беседы с отцом и с сыном она поблагодарила их за гостеприимство и, краснея, попросила у старика дозволения побывать у них снова, чтобы насладиться его поучительными речами о стольких замечательных предметах. Потом она села на лошадь и уехала домой, не выдав себя, когда убедилась, что отец и сын не знают ее. Несмотря на близость столицы, оба они так ушли в работу, что избегали общения с людьми; у юноши никогда не являлось по-этому желания побывать на придворных празднествах. К тому же он никогда не оставлял отца более, чем на час, когда уходил побродить по лесу в поисках бабочек, жуков и растений, и внимал внушениям тихого духа природы через посредство его разнообразных внешних проявлений. Для старика, для принцессы и для юноши простое происшествие приобрело одинаково большое значение. Старик сразу заметил, какое глубокое впечатление незнакомка произвела на его сына, и он достаточно его знал, чтобы понять, что всякое глубо-

кое впечатление останется в душе его на всю жизнь. Его молодость и нетронутость должны были претворить первое ощущение такого рода в непреодолимое чувство. Старик уже давно ждал такого события. Благородная прелесть незнакомки невольно внушала ему симпатию, и его доверчивая душа не тревожилась о дальнейшем развитии странного происшествия. Принцесса никогда еще не испытывала такого состояния, как то, в котором медленно возвращалась домой. Она была во власти смутного, странно-колеблющегося впечатления от нового мира, и это не давало возникнуть никакой определенной мысли. Волшебное покрывало окутывало широкими складками ее ясное сознание. У нее было такое чувство, точно она очутилась бы в неземном мире, если бы покрывало откинулось. Воспоминание о поэзии, которая до того занимала всю ее душу, превратилось в далекую песню, соединявшую ее странно-очаровательную грезу с минувшими временами. Когда она вернулась во дворец, она почти испугалась его великолетия и пестрой суеты; и еще более устрашило ее приветствие отца, лицо которого, впервые в ее жизни, внушило ей благоговение и робость. Ей показалось необходимым молчать о своем приключении. Все достаточно привыкли к ее грезам, к ее глубоко-задумчивому взгляду, чтобы увидеть в нем что-либо необычное. Ее прежнее веселое настроение исчезло; ей казалось, что она окружена чужими. Станный страх охватил ее душу и длился до вечера. Тогда только ее утешила, навеяв счастливые грезы, радостная песня одного поэта, который превозносил надежду и увлекательно пел о чудесах веры в исполнение желаний.

Юноша тотчас же после ее ухода ушел в чащу леса. Держась края дороги, он последовал за нею через кусты до ворот в парк и потом вернулся по дороге. Вдруг он увидел, что у ног его что то ярко сверкнуло. Он наклонился и поднял темно-красный камень, который с одной стороны сверкал необычайным блеском; на другой его стороне вырезаны были непонятные знаки. Он увидел, что это драгоценный карбункул, и ему как будто вспомнилось, что камень этот был у незнакомки посредине ее ожерелья. Он поспешил окрыленным шагом домой, точно надеясь, что она еще там, и принес камень отцу. Они решили, что сын на следующее же

утро пойдет обратно по дороге и будет ждать, не ищут ли камень, и тогда его отдаст. Если же этого не случится, то они решили подождать вторичного посещения незнакомки, чтобы вручить камень ей самой. Юноша созерцал карбункул почти целую ночь и под утро ощутил неотразимое желание написать несколько слов на бумажке, в которую он завернул камень. Он сам в точности не знал, что представлял себе и о чем думал, когда писал следующие слова:

В его крови, сияющей и знойной,
Загадочные вижу письмена.
Не так ли в сердце вечен лик спокойный
И ты, безвестная, отражена?
Из камня брызжет искр поток нестройный,
Во мне лучей колеблется волна.
Из камня к свету скрытый свет струится.
Не сердце ль сердца и во мне таится?

Едва наступило утро, как он отправился в путь и поспешил к воротам сада.

Тем временем принцесса заметила, раздеваясь на ночь, потерю дорогого камня из ожерелья. Карбункул был ей дорог, как память о матери, а также как талисман. Обладание им обеспечивало ей свободу, так как, нося его, она знала, что никогда не подпадет под чужую власть против своей воли.

Потеря камня скорее удивила, чем испугала ее. Она помнила, что камень был на ней, когда она выехала из дому, и была твердо уверена, что потеряла его или в доме старика, или на обратном пути в лесу; она еще ясно помнила дорогу и решила с самого утра пойти искать камень. Эта мысль привела ее в радостное расположение духа; можно было подумать, что потеря совершенно не огорчила ее, так как была предложено тотчас же снова проделать тот же путь. Когда наступило утро, она пошла через сад в лес, и так как шла скорее обыкновенного, то ее ничуть не удивило, что сердце у нее сильно билось и теснило грудь. Солнце только что стало золотить верхушки старых деревьев; они тихо

шелестели и точно будили друг друга от ночных грез, чтобы вместе приветствовать солнце. Принцесса услышала издали шум, взглянула на дорогу и увидела спешившего к ней навстречу юношу, который в ту же минуту заметил ее.

Он на минуту остановился, как вкопанный, и стал глядеть на нее, не отводя глаз, точно хотел убедиться, что это действительно она перед ним, что появление ее не обман чувств. Они приветствовали друг друга с сдержанным выражением радости, точно давно знали и любили друг друга. Еще прежде, чем принцесса успела объяснить ему причину своей ранней прогулки, он, краснея и с сильно бьющимся сердцем, передал ей драгоценный камень, завернутый в исписанную бумажку. Можно было подумать, что принцесса угадала внутренним чутьем содержание стихов. Она молча взяла бумажку дрожащей рукой и в награду за находку, почти не отдавая себе отчета в том, что делает, надела на юношу золотую цепочку, которую носила на шее. Он смущенно опустился перед нею на колени, и когда она осведомилась о его отце, он долгое время не мог найти слов для ответа. Она сказала ему тихим голосом, опустив глаза, что вскоре опять будет у них и с большой радостью воспользуется готовностью отца познакомить ее со своими редкостями.

Она еще раз поблагодарила юношу с необычайной сердечностью и затем медленно, не оборачиваясь, пошла назад. Юноша не в силах был проговорить ни слова. Он почтительно поклонился и долго глядел ей вслед, пока она не исчезла за деревьями. Немного дней спустя она вторично приехала к старику, а за этим вторым посещением последовали дальнейшие. Юноша незаметным образом сделался ее постоянным провожатым. Он в определенные часы приходил за нею к саду и провожал ее туда обратно. Она хранила ненарушимое молчание относительно того, кто она, хотя в остальном настолько доверялась своему спутнику, что вскоре ни одна мысль ее небесной души не оставалась для него тайной. Ее высокое происхождение точно внушало ей самой тайный страх. Юноша тоже открывал ей всю свою душу. Отец и сын считали ее знатной молодой девушкой придворного круга. Она привязалась к старику, как нежная дочь. Ее ласковое обра-

щение с ним было очаровательным предвозвестником нежности к юноше. Она вскоре сроднилась с очаровательным домом и пела под звуки лютни своим небесным голосом дивные песни старику и сыну, сидевшему у ее ног, а затем обучала сына этому обаятельному искусству; после того она, в свою очередь, внимала его вдохновенным объяснениям мировых тайн. Он рассказывал ей, как создавался мир, благодаря чудесным влечениям, и как светила соединялись в звучные хороводы. Доисторические времена воскресали в ее душе через посредство его священных поветствований, и она приходила в восторг, когда ученик ее, охваченный мощным вдохновением, брал в руки лютню и с невообразимой понятливостью начинал петь дивные песни. Однажды, когда юноша провожал принцессу домой, душа его поддавалась особенно смелому порыву, а мощная любовь победила ее девичью сдержанность; оба они, сами не зная как, упали друг другу в объятия, и первый пламенный поцелуй соединил их навеки. В это время, с наступлением сумерек, поднялась вдруг сильная буря в вершинах деревьев. Грозные тучи надвинулись на них и окутали глубокой ночной темнотой. Он торопился укрыть свою спутницу от страшной непогоды, от вырываемых ветром деревьев, но заблудился среди ночного мрака в тревоге за свою возлюбленную и углублялся все дальше и дальше в лес. Страх его усилился, когда он заметил свою ошибку. Принцесса представляла себе испуг короля и всего двора; невыразимый ужас пронизывал время от времени разрушительным лучем ее душу и только голос возлюбленного, неустанно твердившего ей слова утешения, возвращал ей мужество и облегчал стесненную грудь. Буря не прекращалась: все старания найти дорогу были тщетны, и они обрадовались, когда при вспыхнувшем свете молнии открыли по близости пещеру на крутом склоне лесистого холма; там они надеялись укрыться от бушующей непогоды и найти отдых истощенным силам. Счастье благоприятствовало их желаниям. Пещера была сухая и обросшая чистым мохом. Юноша быстро зажег костер из хвороста и моха, и они могли обсушиться у огня. Влюбленные очутились отрезанными от мира, спасенными от опасности и расположились на удобном теплом ложе.

Дикий миндальный куст, отягченный плодами, свешивался в самую пещеру и, услышав журчание ручья по близости, они вскоре нашли свежую воду для утоления жажды. Любно юноша взял с собой и она доставила им теперь ободряющее, успокоительное развлечение у потрескивающего огня. Казалось, высшая сила захотела поскорее распутать узел и свела их в этой романтической обстановке. Невинность их сердец, волшебное настроение душ и неотразимая власть сладостной страсти и юности опьяняла их; они вскоре забыли мир и все свои отношения к нему и при свадебном пении грозы и брачных факелах молнии погрузились в сладчайшее упоение, какое когда-либо охватывало смертную чету. С наступлением светлого голубого утра они проснулись в новом блаженном мире. Но поток горячих слез, который вскоре полился из глаз принцессы, выдал ее возлюбленному пробуждающуюся тревогу ее сердца. Он стал в эту ночь старше на много лет, сделался из юности взрослым мужем. Охваченный беспредельным воодушевлением, он начал утешать свою возлюбленную, говоря о святости истинной любви, о высоком доверии, которое она внушает, и стал ее просить, чтобы она твердо ждала самого радостного будущего от гения-хранителя ее сердца. Принцесса почувствовала истину его утешающих слов и открыла ему, что она дочь короля и что она страдает горя и оскорбленной гордости ее отца. После долгого обсуждения они пришли к согласному решению, и юноша тотчас же отправился к своему отцу, чтобы ознакомиться с их намерениями. Он обещал скоро вернуться к ней и покинул ее успокоенной; она погрузилась в сладкие мечты о благополучном исходе событий. Юноша вскоре прибыл в отцовский дом, и старик очень обрадовался, увидав его живым и невредимым. Он узнал историю и намерения любящей четы и, после некоторого размышления, согласился содействовать им. Дом его был укрытый от взоров, и в нем существовало несколько подземных комнат, куда нелегко было проникнуть. Их решили предоставить принцессе. В сумерки юноша привел ее, и старик встретил ее, глубоко растроганный. Она потом часто плакала, когда оставалась одна, думая о горе своего отца; но она скрывала свою печаль от

возлюбленного и говорила о ней только старику, который ласково утешал ее надеждами на скорое возвращение к отцу.

При дворе началась страшная тревога, когда вечером заметили отсутствие принцессы. Король был вне себя и разослал людей во все стороны искать ее. Никто не мог объяснить себе ее исчезновения. Никому не приходила мысль о какой-нибудь любовной тайне; не предполагали также возможности побега, так как, кроме принцессы, никто не исчез из придворных. Не было ни малейших оснований ни для каких предположений на ее счет, Разосланные гонцы вернулись ни с чем, и король впал в глубокую печаль. Только по вечерам, когда к нему являлись певцы и пели ему прекрасные песни, в нем пробуждалась на минуту прежняя радость; ему казалось, что дочь его по близости, и он снова надеялся увидеть ее. Но когда он оставался один, сердце его разрывалось на части от горя, и он громко плакал. Тогда он думал про себя:—На что мне мое величие и высокое рождение? Все же я несчастнее всех людей на свете. Ничто не может заменить мне мою дочь. Без нее все песни лишь пустые слова и обман чувств. Она была волшебной силой, вливавшей в них жизнь и радость, она облекала их образы и придавала им очарование. Как бы я хотел быть ничтожнейшим из монахов слуг. Тогда бы у меня была моя дочь, был бы еще зять и внуки, которых я сажал бы себе на колени. Тогда бы я был действительно королем. Не венец и не державная власть составляют короля, а полное, бьющее через край чувство радости, удовлетворенность земными благами, чувство избытка счастья. Я наказан за свою гордыню. Утрата супруги еще недостаточно меня потрясла, и вот теперь меня постигло беспредельное горе.—Так жаловался на судьбу свою король в часы самого пламенного томления. Иногда же снова проявлялись его прежняя суровость и гордость. Он гневался на себя за свои жалобы и решал переносить печаль, как подобало его высокому положению. Он тогда считал, что должен страдать больше других, что королю причествует великая скорбь. Но когда наступали сумерки, когда он входил в комнату дочери и глядел на висевшие там платья и на все ее вещи, остававшиеся стоять по своим местам так, точно она только что вышла из ком-

наты, он забывал свои намерения, ясно обнаруживал свою печаль и взывал о жалости к ничтожнейшим из своих слуг. Весь город и вся страна плакали и разделяли его скорбь. Но почему-то носился слух, что принцесса жива и вскоре вернется вместе с тем, кто стал ее супругом. Никто не знал, откуда пошел этот слух, но все радостно верили ему и с нетерпением ждали скорого возвращения принцессы. Так прошло несколько месяцев, и снова настала весна. «Вот увидите,—говорили некоторые,—скоро вернется принцесса». Даже король повеселел и стал надеяться. Слух казался ему как бы обетом расположенного к нему провидения. Возобновились прежние празднества и для полного расцвета прежнего великолетия недоставало только принцессы. Однажды вечером, когда как раз исполнился год со времени ее исчезновения, весь двор собрался в саду. Воздух был теплый и ясный; тихий ветер шелестел в верхушках старых деревьев и, казалось, возвещал о приближении издалека веселого каравана. Во мрак шлепастящих верхушек поднялась высокая струя фонтана среди множества факелов с бесчисленными огнями и сопровождала звучным журчанием песни, раздававшиеся под деревьями. Король сидел на пыльном ковре, и вокруг него собрался двор в праздничных одеждах. Многочисленная толпа наполняла сад и окружала величественное зрелище. Король глубоко погрузился в мысли. Ему представился с необычайной ясностью образ его дочери; он вспоминал счастливые дни, внезапно оборвавшиеся ровно за год перед тем. Пламенная тоска охватила его и обильные слезы потекли по старым щекам; но он ощущал вместе с тем необычайную радость. Ему казалось, что печальный год был только тяжелым сном, и он поднял глаза, как бы отыскивая среди людей и деревьев высокий, священный, обаятельный образ дочери. Певцы только что кончили свои песни, и глубокая тишина казалась знаком общей умиленности, ибо певцы воспевали радость свидания после разлуки, весну и будущее в тех красках, которыми украшает его надежда.

Вдруг тишину прервали звуки незнакомого прекрасного голоса, который раздался точно из древнего дуба по близости. Все взгляды направились туда; там стоял юноша в простой, но чужеземной одежде. Он держал в руке лютню и спокойно продолжал

петь низко поклонившись, когда король обратил взгляд в его сторону. Голос его был необычайно прекрасен, и пение звучало неведомым очарованием. Он пел о начале мира, о происхождении звезд, растений, животных и людей, о всемогущем участии природы, о древнем золотом веке и о властительницах его, любви и поэзии, о возникновении ненависти и варварства и об их распрях с этими добрыми богинями и, наконец, о грядущем торжестве последних, о конце печали, об обновлении природы и о том, что вернется вечный золотой век. Старые певцы, сами охваченные восторгом, обступили во время пения странного незнакомца. Небывалое восхищение преисполнило зрителей, и самому королю казалось, что его куда-то уносит небесный поток. Такой песни никто никогда еще не слышал, и всем казалось, что среди них появилось небесное создание, тем более, что юноша как бы становился во время пения все более прекрасным, а голос его все более мощным. Воздух играл его золотыми кудрями. Лютня ожидала в его руках, и взор его погружался, точно опьяненный, в более таинственный мир. Детская невинность и чистота его лица тоже казались неземными. Но вот дивное пение кончилось. Старые певцы прижимали юношу со слезами радости к груди. Тихий, глубокий восторг охватил присутствующих. Король взволнованно подошел к певцу. Юноша скромно упал к его ногам. Король его поднял, сердечно обнял его и сказал, чтобы он сам себе назначил награду. У него вспыхнуло лицо, и он попросил короля выслушать еще одну песню и тогда ответить на просьбу. Король отступил на несколько шагов и чужеземец начал:

«Пути певца—труды без счета,
Он платит о терновник рвет,
Проходит реки и болота,
И помощь—кто ему пошлет?
Все безнадежней, бесприютней
Певца усталая мольба.
Еще не расстается с лютней,
Но тяжела ему борьба.

Мне грустный был назначен жребий,
Пустынна вокруг меня земля,
Я всем пою о светлом небе,
Ни с кем веселья не деля.
Своим уделом весел каждый
И жизни рад—через меня:
Но жалок дар их: встречной жаждой
Не примут моего огня.

Легко со мною разлученье,
Как с маем, улетевшим вдаль;
Когда он тает в отдаленье,
Кому растаявшего жаль?
Они просили только хлеба—
А знать, кто сеял—нужды нет;
Я в песнях сотворил им небо—
В молитве их нѣжду ль ответ?

Я чувствую: волшебной властью
Окрепил слабые уста.
Ах, отчего их дивной страстью
Любви не окрылит мечта?
Не вспомнит ни одна о бедном
Пришельце из чужой страны;
К его молениям бесследным
Сердца, как раньше, холодны.

Он падает в густые травы,
В слезах пытается заснуть;
Но гений песен величавый
В стесненную выводит грудь:
Забудь. забудь, что ты унижен,
Не вечны слезы на лице,
Чего в стенах не встретил хижин,
Тебе предстанет во дворце.

Конец томленьям и урону,
Судьба неожиданная близка.
Венок из мирта, как корону,
Наденет верная рука.
К престолу славы властным словом,
Счастливым, призван ты один;
Певец по ступеням суровым
Взошел, как королевский сын».

Когда он дошел до этого места в своей песне, присутствующих охватило странное волнение, ибо при последних строфах вдруг появились и стали за певцом никому неизвестные старик и рядом с ним закутанная в покрывало женщина высокого роста, с дивным младенцем на руках. Ребенок ласково глядел на чужих людей и с улыбкой тянулся маленькими ручками к сверкающему венцу короля. Но общее изумление возросло еще более, когда вдруг с верхушек старых деревьев слетел любимый орел короля, постоянно находившийся при нем; он держал в клюве золотую головную повязь, которую он, повидимому, похитил из комнат короля. Орел спустился на голову юноши, и повязь обвилась вокруг кудрей чужеземца, в первую минуту испугавшегося. Орел отлетел к королю, оставив повязь. Юноша передал ее ребенку, потянувшемуся за нею, и продолжал растроганным голосом свою песню:

«Певец, от грезы пробужденный,
В волненье ринулся вперед,
Листвой зеленой осененный,
К порогу царственных ворот.
Блистают стены крепкой сталью,
Их песня победит шутя.
К нему с любовью и печалью
Стремится царское дитя.

Любовь их сводит тесно вместе,
Но гонит вдаль бряцанье брони;
Они таятся в мирном месте,
Их мучит сладостный огонь.

И оба, скрытые укромно,
Страшатыя гнева короля,
Всегда—зарей и ночью темной—
Вдвоем восторг и боль дея.

И о надежде непрерывно
Поет над матерью певец,
И, привлеченный песней дивной,
Приходит к ним король-отец.
И дочь протягивает внука,
Младенца в золотых кудрях;
Испуг, раскаянье и мука
Их вдруг повергнули во прах.

И нежностью душа родная
И звуком песен смягчена,
Зовет, страданья забывая,
К блаженству вечному она.
Любви настало искупленье,
Она свой давний платит долг,
И в поцелуях примиренья
Напев небесный не умолк.

Приди же, гений песнопений,
И здесь любви не измени,
Дочь возврати родимой сени
И дочери отца верни!
Ее и внука он обнимет,
А если счастьем нет конца,
Он в царственные руки примет,
Как сына милого, певца».

При этих словах, мягко прозвучавших по темным переходам, юноша приподнял дрожащею рукой покрывало, скрывавшее лицо женщины. Принцесса упала, обливаясь слезами, к ногам короля и протянула ему прекрасное дитя. Певец стал на колени рядом

с нею и опустил голову. Тревожная тишина захватила у всех дыхание. Король стоял несколько минут с строгим лицом, ничего не говоря; потом он привлек принцессу к своей груди, долго прижимал ее к себе и громко плакал. Затем поднял также юношу и обнял его с глубокой нежностью. Светлое ликование овладело тесно окружившей их толпой. Король взял младенца и благоговейно поднял его к небу; потом он милостиво приветствовал старика. Проливались без числа радостные слезы. Певцы стали петь, и тот вечер сделался священным для всей страны, жизнь которой превратилась с этой поры в дивный праздник. Никто не знает, куда девалась эта страна. В сказаниях только говорится, что Атлантиду скрыли от взоров мощные волны.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Несколько дней пути прошли без всяких перерывов. Дорога была твердая и сухая, погода ясная и живительная; места, по которым вел путь, были плодородны, населены и разнообразны. Страшный тюрингенский лес оставался позади; купцы много раз совершали этот путь, имели всюду знакомых и встречали везде самый радушный прием. Они избегали ездить по пустынным местностям, где водились разбойники; а если приходилось непременно проезжать через них, то брали с собой достаточную охрану. Несколько владельцев соседних горных замков были в хороших отношениях с купцами. Купцы их навестили, спрашивая, нет ли у них поручений в Аугсбург. Путников всюду ласково угощали, а жены и дочери с любопытством обступали чужеземцев. Мать Гейнриха вскоре покорила всех своей общительностью и добротой. Всем было приятно познакомиться с женщиной из столичного города, которая охотно рассказывала о новых модах, а также учила готовить разные вкусные блюда. Молодого Офтердингена рыцари и дамы хвалили за его скромность и за непринужденное мягкое обращение. Дамам нравилась его привлекательная внешность, действовавшая на них как простое слово незнакомца, которого сначала почти даже не слышишь, пока оно, уже много времени спустя после его ухода, не начинает все более раскрываться, как невзрачный бутон, превращаясь, наконец, в дивный цветок и сверкая пестротой густо еросшихся лепестков; и потом уже никогда этого слова не забывают; его неустанно повторяют, и оно становится неисчерпаемым сокровищем. Тогда точнее вспоминают про незнакомца, начинают догадываться и, наконец, ясно понимают, что он явился из высшего мира. Купцы получили множество поручений и уехали, обменявшись взаимными пожеланиями свидеться вновь

в ближайшее время. В одном из замков, куда они прибыли под вечер, было очень весело. Хозяин замка был старый воин, который праздновал и прерывал досуг мирного времени и одиночество своей жизни частыми пирами; кроме шума битв и охоты, он не знал иного времяпрепровождения, как за полной чашей.

Он принял путников с братским радушием, окруженный шумной толпой пирующих. Мать повели к хозяйке дома. Купцов и Гейнриха усадили за веселый стол, вокруг которого оживленно ходили чаши. Гейнриху после его многократных просьб разрешили, в виду его юности, не участвовать в круговой чаше каждый раз, когда наступал его черед; но купцы зато не ленились и отважно пили старое франконское вино. Речь зашла о былых боях. Гейнрих слушал с большим вниманием новые для него рассказы. Рыцари говорили о святой земле, о чудесах Гроба Господня, о своих походах и своем плавании, о сарацинах, у которых некоторые из них были в плену, о веселой, полной очарования жизни на поле битвы и в лагере. Они возмущались тем, что небесная родина христианской веры все еще находится в дерзновенном владении неверных. Они восхваляли великих героев, заслуживших вечный венец славы отважной и неустанной борьбой против этого нечестивого народа. Владелец замка показывал драгоценный меч, который он собственной рукой отнял у одного из предводителей неверных, завладев его замком, умертвив его и взяв в плен его жену и детей; император разрешил ему носить этот меч в гербе. Все стали рассматривать прекрасный меч; Гейнрих тоже взял его в руку, и им овладела воинственная отвага. Он благоговейно приложился к мечу. Рыцари радовались его сочувствию. Старик обнял юношу, убеждая его навсегда посвятить себя освобождению Гроба Господня и возложить на плечи чудотворный крест. Он был поражен и ему все не хотелось выпускать из рук меч.

— Подумай, сын мой, — воскликнул старый рыцарь. — Предстоит вскоре новый крестовый поход. Сам император поведет наши полчища на восток. По всей Европе снова раздастся призыв креста, и всюду пробуждается геройская благочестивая отвага. Как знать, не будем ли мы сидеть все вместе через год в великом мировом граде Иерусалиме, радуясь победе и поминая отчизну за

вином родной страны У меня в доме живет восточная девушка:
я могу показать ее тебе. Они очень привлекательны для нас, за-
падных людей, и если ты хорошо владеешь мечом, то у тебя не
будет недостатка в прекрасных пленницах. Рыцари громко запели
крестовую песнь, которую в то время пели по всей Европе:

«В руках неверных гроб священный,
Спасителя святая сень.
Ее клеймят хулой презренной,
Ее поносят каждый день.
Нас заглушенный зов тревожит:
О, кто позор мой уничтожит!

Где рыцарские ополченья?
Христовой веры где оплот?
Кто принесет ей возрожденье?
Кто в наше время крест возьмет
И в ревности о Божьем склепе
Позорные сломает цепи?

Вот по ночным морям и нивам
Идет священная вражда;
Взывает к сонным и ленивым
В поля, в селенья, в города,
Повсюду буря восклицаний:
В поход и к бою, христиане!

И ангелы повсюду зримы,
Их лики немы и грустны,
И у порогов пилигримы
Стоят отчаянья полвы;
• Всех призрак истомил единый:
Неистовые сарацины.

Заря пылает алой кровью
«В краю далеком христиан.

И каждый болью и любовью
И умилением обуян.
Хватают все—и крест, и латы,
Родной очаг покинуть рады.

И все горят, друг с другом споря,
Порывом Божий гроб спасти,
Стекаются на берег моря,
Чтоб путь священный обрести.
И дети прибегают тоже,
Восторженные толпы множа.

Высоко над толпой сияя
Колелет знамя знак креста.
Вот верные у двери Рая,
Его распахнуты врата; ,
Все жаждут счастьем насладиться,
За веру смерти причаститься.

Вперед! Господне ополченье
Стремится в даль заветных стран.
Смирит неверных исступленье
Десница Бога христиан.
Мы Божий гроб, добытый боем.
В крови язычников омоем.

И реет Девы лик бессонный
Средь светлых ангелов небес,
И кто упал, мечом сраженный,
В Ее родных руках воскрес.
Она в сияньи и в печали
Склоняется к бряцанью стали.

К святыням! И за битвой битва!
Гуди, глухой могильный зов!

Прошен победой и молитвой
Великий грех земных веков!
Умрет языческая злоба.
И нам в удел—святыня Гроба.

Гейнрих был глубоко потрясен. Гроб Господень представился ему в виде бледного образа благородного юноши, сидящего на большом камне, среди дикой толпы, и подвергающегося страшным истязаниям; ему казалось, что он обращает горестное лицо к кресту, сверкающему в глубине и без конца повторяющемуся в вздымающихся морских волнах.

В эту минуту за Гейнрихом прислала мать; она хотела представить его хозяйке дома. Рыцари были так поглощены питьем и беседой о предстоящем походе, что не заметили как удалился Гейнрих. Он застал свою мать в сердечной беседе со старой доброй хозяйкой замка, которая ласково приветствовала его. Вечер был ясный; солнце спускалось к закату, и Гейнриху, которого тянуло к одиночеству и в золотистую даль, видневшуюся из мрачной залы через узкие глубокие сводчатые окна, разрешили погулять за воротами замка. Он поспешил выйти на воздух. Душа его была в смятении. С высоты старого утеса он увидел прежде всего лесистую долину, через которую мчался поток, приводивший в движение несколько мельниц; шум их колес едва доносился из глубины; далее расстилалась необозримая полоса гор, лесов и долин. От этого вида улеглась его внутренняя тревога. Прошло воинственное возбуждение, и в нем осталось только прозрачное, исполненное образов томление. Он чувствовал, что ему не достает лютни, хотя собственно не знал, какой она имеет вид и какие вызывает звуки. Мирное зрелище дивного вечера погружало его в нежные грезы; цветок его души мелькал перед ним временами, как зарница. Он шел, пробираясь сквозь кусты, и карабкался на мшистые скалы, как вдруг по близости раздавалось из глубины нежное, проникающее в душу женское пение, сопровождаемое волшебными звуками. Он не сомневался, что это звуки лютни; остановившись в глубоком изумлении, он услышал следующую песню, пропетую на ломаном немецком языке:

«Разве сердце на чужбине
Не изноет никогда?
Разве сердцу и доныне
Блещет бледная звезда?
О возврате тщетны грезы.
Катятся ручьями слезы,
Сердце рвется от стыда.

Я б тебя—лишь день свободы!—
Миртом темным оплела!
В радостные хороводы
К резвым сестрам увела,
Я бы в платьях златотканых,
В кольцах ярких и чеканных
Прежней девушкой была!

Много юношей склонялись
Жарким взором предо мной:
Нежные напевы мчались
За вечернею звездой.
Можно ль милому не верить?
Верность и любовь измерить?
До могилы милый—твой.

Здесь к ручьям сквозным и чистым
Наклонен небесный лик,
К волнам знойным и душистым
Утомленный лес приник.
Меж веселыми ветвями,
Меж плодами и цветами
Раздается птичий крик.

Где вы, грезы молодые,
Милая моя страна?
Срублены сады родные,
Башня замка сожжена.

Грозные, как буря в море,
• Все смели войска в раздоре,
Рай исчез, и я одна.

Грозные огни взвивались
В воздух неба голубой,
На лихих конях ворвались
В город недруги гурьбой.
• Наш отец и братья бьются.
Не вернутся! Не вернутся!
Нас умчали за собой.

Взор туманится печалью;
Родина. родная мать!
Вечно ли за этой далью
О тебе мне горевать?
• Если б не ребенок милый,
Я давно нашла бы силы
Цепи жизни разорвать».

• Гейнрих услышал рыдание ребенка и чей-то утешающий голос. Он спустился вниз сквозь кусты и увидел сидящую под старым дубом бледную, изможденную девушку. Прекрасное дитя, плача, обвивало ее шею; у нее тоже текли слезы из глаз, и на лугу подле нее лежала лютия. Она несколько испугалась, увидав незнакомого юношу. который приблизился к ней с грустным лицом.

— Вы, верно, слышали мое пение, — ласково сказала она. — Ваше лицо мне кажется знакомым; дайте припомнить. Память моя ослабела, но вид ваш будит во мне странное воспоминание о счастливом времени. О, да! Вы как будто похожи на одного из моих братьев, который еще до нашего несчастья расстался с нами и отправился в Персию к одному знаменитому певцу. Быть может, он еще жив и горестно воспекает несчастье своей семьи. Жаль, что я не помню хоть некоторые из тех дивных песен, которые он оставил нам! Он был благороден и нежен и самой большой радостью была для него его лютия.

Дитя, находившееся при ней, девочка, десяти или двенадцати лет, внимательно смотрела на незнакомого юношу, тесно прижимаясь к груди несчастной Зулеймы. Сердце Гейнриха преисполнилось жалости. Он стал утешать певицу добрыми словами и попросил ее подробнее рассказать ему свою историю. Она охотно исполнила его просьбу. Гейнрих сел против нее и услышал рассказ, часто прерываемый слезами. Более всего при этом прославляла она свою родину и свой народ. Она говорила о благородстве соотечественников, об их чистой, сильной отзывчивости к поэзии жизни, так же как к дивной, таинственной прелести природы. Она описывала романтические красоты плодородных аравийских земель, расположенных на подобие счастливых островов, среди недвижных песчаных пустынь. Они точно убежища для угнетенных и усталых, точно райские селения, полные свежих источников, журчащих среди густых лугов и сверкающих камней вдоль древних рощ, населенных пестрыми птицами с звучными голосами, и привлекают разнообразием следов старинного достопримечательного времени.

— Вас бы поразили, — сказала она, — пестрые, светлые, странные письмена и изображения, которые вы увидели бы на древних каменных плитах. Они кажутся такими знакомыми и не без основания так хорошо сохранившимися. О них думаешь и думаешь, кое-что в отдельности начинает казаться понятным, и тем глубже загорается желание постигнуть глубокие соотношения этих древних начертаний. Неведомый дух их необычайно возбуждает работу мысли, и хотя и не находишь желанного, все же делаешь тысячу замечательных открытий в себе, и они придают жизни новый блеск, дают душе надолго плодотворные занятия. Жизнь на издревле населенной земле, уже некогда прославившейся благодаря прилежанию населения, благодаря его работоспособности и любви к труду, имеет особую прелесть. Природа кажется там более человечной и более понятной; смутные воспоминания, при прозрачности настоящего, отражают картины мира в резких очертаниях; таким образом получается впечатление двойного мира, который теряет тем самым тяжесть и навязанность и становится волшебной поэмой наших чувств. Как знать, не сказывается ли в этом

непонятное вмешательство прежнего, незримого теперь населения: быть может, это и тянет людей, в определенное время их пробуждения, из новых мест на старую родину их племени, с таким разрушительным нетерпением побуждая их отдавать кровь и достояние за владение этими землями.

После краткой паузы она продолжала:— Не верьте тому, что вам рассказывали о жестокости моего народа. Нигде с пленными не обходятся более великодушно, и ваши странники, явившиеся в Иерусалим, встречали там гостеприимный прием; но они не всегда были достойны этого. Большинство из них были негодные, злые люди, которые оскверняли свои паломничества злодеяниями и, правда, претерпевали за это справедливое возмездие. Как спокойно могли бы христиане навещать Гроб Господень, не затеывая страшной ненужной войны, которая всех озлобила, принесла бесконечно много горя и навсегда отделила Восток от Европы. Что в имени владельца? Наши властители свято чтят гроб вашего святого, которого и мы признаем божественным пророком; как прекрасно мог бы его священный гроб стать колыбелью счастливого единения, основой вечных благодетельных союзов!

Среди беседы настал вечер. Спускалась ночь, и месяц покалался над влажным лесом в умиротворяющем сиянии. Они стали медленно подниматься к замку; Гейнрих глубоко задумался, его воинственное воодушевление совершенно исчезло. Он видел странное смятение в мире; месяц явил ему лик утешающего созерцателя; он вознес его над неровностями земной поверхности, такими ничтожными, если смотреть на них с высоты, хотя бы они и казались дикими и неприступными путнику. Зулейма тихо шла рядом с ним и вела девочку. Гейнрих нес люльку. Он старался оживить у своей спутницы падающую надежду на то, что она снова когда-нибудь вернется на родину; он чувствовал мощное влечение стать ее спасителем, хотя и не знал, как бы он мог это сделать. Казалось, что какая-то особая сила была в его простых словах; Зулейма почувствовала необычайное успокоение и трогательно благодарила его за ласковые слова. Рыцари все еще сидели с кубками в руках, а мать Гейнриха погружена была в беседу о домашнем обиходе. Гейнриху не хотелось вернуться в шумную залу.

Он был утомлен и вскоре направился с матерью в отведенный им спальный покой. Он рассказал ей, прежде чем лег спать, обо всем, что с ним произошло, и вскоре заснул, погружаясь в приятные видения. Купцы тоже рано удалились на покой и рано встали на следующее утро. Рыцари еще спали глубоким сном, когда они уехали; но хозяйка вежливо попрощалась с ними. Зулейма мало спала; внутренняя радость не давала ей уснуть. Она присутствовала при отъезде путников, кротко и старательно прислуживая им. Когда они прощались, она со слезами принесла свою лютню Гейнриху и трогательно попросила его взять ее с собой на память о Зулейме.

— Это лютня моего брата, — сказала она: — он мне подарил ее на прощанье. Она — единственное достояние, которое я спасла. Вчера она, кажется, вам понравилась, а вы оставляете мне бесценный подарок: сладостную надежду. Примите же этот ничтожный знак моей признательности, и пусть эта лютня будет залогом вашей памяти о бедной Зулейме. Мы, наверно, снова увидимся, и тогда, быть может, я буду более счастливой.

Гейнрих заплакал; он отказался принять столь нужную ей лютню.

— Дайте мне. — сказал он, — золотую повязь с неведомыми буквами, которую вы носите в волосах, если только это не память у вас от ваших родителей или сестер; взамен возьмите покрывало; моя мать охотно вам его уступит.

Она склонилась, наконец, на его просьбы и дала ему повязь, сказав:

— Тут мое имя, начертанное буквами моего родного языка; я сама вышила его на этой повязи в более радостное время. Глядите на нее с добрым чувством и помните, что она в течение долгого скорбного времени свнзывала мои волосы и поблекла вместе со мною.

Мать Гейнриха взяла покрывало и передала его девушке, прижав ее к себе и со слезами обнимая ее.

ГЛАВА ПЯТАЯ

После нескольких дней пути приехали они в деревню у подножья нескольких остроконечных холмов, разделенных глубокими ложбинами. Местность была плодородная и привлекательная, хотя хребты холмов имели мертвый отталкивающий вид. Гостиница была чистая, хозяева приветливые; много людей—частью путешественники, частью просто пришедшие выпить—сидели за столами и мирно беседовали.

Наши путники присоединились к ним и вмешались в разговоры. Внимание собравшихся устремлено было на старого человека, который сидел у стола в чужеземном платье и охотно отвечал на вопросы, обращенные к нему. Он пришел из чужих стран, осмотрел с утра все окрестности и рассказывал о своем ремесле и о своих открытиях в этот день. Его называли искателем кладов. Он говорил очень скромно о своих знаниях и своем умении, но рассказы его носили отпечаток странности и новизны. Он рассказал, что он родом из Богемии. С детства его мучило желание узнать, что скрыто в горах, откуда берется вода в источниках и где можно найти золото, серебро и драгоценные камни, так неотразимо влекущие к себе людей. Он часто рассматривал в находившейся по близости монастырской церкви сверкающие драгоценности на образах и раках с мощами и мечтал о том, чтобы камни заговорили с ним и рассказали о своем таинственном происхождении. Он слышал, что драгоценности привозятся из далеких стран, но всегда думал, что и на родине его должны существовать такие же сокровища. Не напрасно ведь было столько гор вокруг, таких высоких и столь недоступных, ему казалось также иногда, что он видел в горах блестящие, сверкающие камни. Он усердно карабкался по расщелинам утесов, залезал в пещеры и с невы-

разным наслаждением все оглядывал под этими древними сводами. Наконец, ему повстречался путешественник, который посоветовал ему сделаться рудокопом, ибо тогда он сможет удовлетворить свою любознательность. Он сказал, что есть рудники и в Богемии, и что если он будет идти вдоль берега вниз по течению десять-двенадцать дней, то придет в Эулу; там пусть он только скажет, что хочет сделаться рудокопом. Он не замедлил последовать совету и на следующий же день отправился в путь.—После тяжелого перехода в несколько дней,—продолжал он,—я прибыл в Эулу. Не могу вам сказать, в какой я пришел восторг, когда увидел с высоты холма груды камней, промеж которых росли зеленые кусты; на них стояли хижины, сколоченные из досок, и из долины поднимались облака дыма, стлавшиеся над лесом. Далекий грохот усилил мое ожидание; и вскоре я сам стоял с невыразимым любопытством и с тихим благоговением на таком возвышении или отвале, перед темными глубинами, которые внутри хижин круто вели во внутрь горы. Я поспешил спуститься вниз, в долину, и вскоре встретил нескольких людей, одетых в черное, с лампами в руках; я не без основания принял их за рудокопов и робко заявил им о своем желании. Они ласково выслушали меня и сказали, чтобы я спустился к плавильням и спросил штейгера, который начальствует над ними; от него я и узнаю, могу ли быть принят. Они сказали мне, что мое желание, вероятно, будет удовлетворено и научили меня приветствию «в добрый час», с которым мне следовало обратиться к штейгеру. Преисполненный радостных ожиданий, я все время повторял про себя знаменательное приветствие. Штейгер оказался почтенным старым человеком и принял меня очень приветливо; после того как я рассказал ему все про себя и выразил страстное желание изучить его редкое таинственное ремесло, он выразил готовность исполнить мою просьбу. Я, видимо, понравился ему, и он оставил меня у себя в доме. Я не мог дожидаться минуты, когда спущусь в рудник и увижу себя в очаровательной одежде рудокопа. Еще в тот же вечер он принес мне платье и объяснил мне способ пользования некоторыми орудиями, спрятанными в чулане.

Вечером к нему пришли рудокопы, и я внимал каждому слову

их беседы, хотя и самый язык их, и в значительной степени содержание их рассказов было мне непонятно и неведомо. Но то немногое, что я понимал, еще более усилило мое любопытство и занимало меня ночью в сившихся мне странных снах. Я рано проснулся и отправился к моему новому хозяину, у которого собрались один за другим рудокопы, чтобы выслушать его приказания. Комната рядом была превращена в маленькую часовню. Явился монах и отслужил обедню, а затем произнес торжественную молитву, поручая рудокопов святому заступничеству неба, которое должно было охранить их в их опасной работе, защитить от преследований и коварства злых духов и наградить их богатством разработок. Я никогда не молился с таким рвением, как в этот день, и никогда так не чувствовал высокого значения литургии. Мои будущие товарищи представлялись мне подземными героями, которым предстояло побороть тысячи опасностей; вместе с тем они обладали, как мне казалось, завидным счастьем, ибо, благодаря своим таинственным знаниям и своему тихому общению с древними горными сынами природы в своих темных дивных кельях, они были подготовлены к восприятию небесных даров и к тому, чтобы вознестись над миром и мирскими печальми. Штейгер дал мне, после того, как кончилось богослужение, лампу и маленькое деревянное распятие и отправился вместе со мной в шахту, как мы называем крутые сходы в подземные здания. Он научил меня, как спускаться вниз, объяснил мне необходимые меры предосторожности и назвал имена разных предметов и частей шахт. Он двинулся вперед и скатился по круглой балке, держась одной рукой за веревку, которая скользила узлом вдоль бокового шеста; в другой руке он держал зажженную лампу; я последовал его примеру, и мы довольно быстро очутились на значительной глубине. Я был в странном, торжественном настроении, и огонек предо мной мелькал, как счастливая звезда, указывающая мне путь в скрытые сокровищницы природы. Мы очутились внизу среди лабиринта переходов, и мой добрый наставник неутомимо отвечал на все мои вопросы и обучал меня своему искусству. Журчание воды, отдаленность от населенной поверхности земли, тьма и переплетенность ходов, а также далекий шум

работающих рудокопов, бесконечно восхищали меня; я с радостью почувствовал себя в полном обладании всем, чего так пламенно желал. Трудно объяснить и описать чувство, вызванное удовлетворением врожденного желания. дивную радость, порожденную тем, что стоит в близкой связи с нашей сокровенной сущностью, с занятиями, для которых мы предназначены и подготовлены с колыбели. Быть может, всякому другому эта работа показалась бы ничтожной, низменной и отталкивающей; но мне она представлялась столь же необходимой, как воздух для груди и пища для желудка. Мой старый учитель радовался моему усердию и сказал мне, что при таком прилежании и внимании, я могу сделаться хорошим рудокопом. Как велико было мое благоговение, когда я впервые в жизни, шестнадцатого марта, уже сорок пять лет тому назад, увидел царя металлов в чуждых листиках между распелинами камней. Мне казалось, что он как бы заключен в темнице и приветливо сверкает навстречу рудокопу, который с такими опасностями и трудностями пробил себе путь к нему через крепкие стены, для того, чтобы вывести его на свет Божий и дать ему воссиять на царских венцах и на священной утвари, а также для того, чтобы он владел и управлял миром в виде всеми почитаемых и святохранимых монет, украшенных портретами. С тех пор я все время работал в Эуле и дошел постепенно до должности высекальщика, который управляет работой в каменоломне; до того я был приставлен к нагрузке отколотых кусков в корзины».

Старый рудокоп остановился, чтобы передохнуть, и вышел, чокнувшись со своими внимательными слушателями. Они весело подняли стаканы с кликами: «Бог в помощь!» Гейнриху рассказ старика очень понравился и ему захотелось слушать дальше.

Слушатели стали говорить про опасности и странности горного дела и вспоминали разные удивительные предания; старик только улыбался и ласково исправлял неточности в их рассказах.

Спустя несколько времени Гейнрих сказал: — Вы, вероятно, видели и испытали очень много любопытного на своем веку. Надеюсь, вы никогда не раскаивались в выборе своего образа жизни? Не будете ли вы столь любезны рассказать нам, как вам

жилося с тех пор и куда вы держите путь. Вы, вероятно, много где бывали, и я предполагаю, что вы теперь более, чем простой рудокоп.

— Мне самому приятно, — сказал старик, — вспоминать про минувшие времена, когда я не раз имел основание убеждаться в милосердии и доброте Господней. Судьба дала мне радостную и веселую жизнь, и не было ни одного дня, когда бы я не лег спать с благодарностью в сердце. Я был всегда счастлив в моих начинаниях, и наш небесный отец сохранял меня от лукавого; мне дано было поседеть в почете. После Бога я всем обязан моему старому учителю, который уже давно отправился к праотцам; я не могу вспоминать о нем без слез. Он был человек старого времени, верный сердцу Господню. У него были высокие помыслы, и все же в делах своих он был кроткий младенец. Благодаря ему, стало процветать горное дело, и герцог богемский приобрел несметные богатства. Страна сделалась богатой, населенной и цветущей. Все рудокопы чтили в нем отца, и пока будет стоять Эула, имя его будут называть с умилением и благодарностью. Он был родом из Лаузица, и его звали Вернером. Его единственная дочь была еще ребенком, когда я поселился у него в доме. Мое усердие, моя верность и моя страстная привязанность к нему с каждым днем все более располагали его ко мне. Он дал мне свое имя и усыновил меня. Маленькая девочка выросла и сделалась милым созданием; лицо ее было таким же ясным, приветливым и светлым, как ее душа. Старик видел, как она привязалась ко мне и как охотно я болтаю и шучу с нею, не отводя взгляда от ее голубых, ясных, как небо, и сверкающих, как хрусталь, глаз и часто говорил мне, что если я сделаюсь хорошим рудокопом, то он не откажет мне в ее руке. И он сдержал слово. В тот день, когда я сделался мастером, он возложил руки на наши головы, благословил нас, и мы стали женихом и невестой; чрез несколько недель я увел ее, как жену, в свою комнату. В тот же день я вырубил, рано утром, когда взошло солнце, богатую жилу. Герцог прислал мне золотую цепь со своим портретом на большой медали и обещал мне место моего тестя. Как я был счастлив, когда в день свадьбы повесил эту цепь на шею моей невесте, и все глаза устре-

мились на нее. Наш старый отец дожил еще до того, что у него родилось несколько славных внуков; под осень прииски его жизни оказались более богатыми, чем он ожидал. Он смог с легким сердцем закончить работу и покинуть темную шахту сего мира, чтобы отдохнуть на покое и дожждаться великого расчетного дня.

Старик обратился к Гейнриху и утер несколько слез.—Горное дело. — сказал он, — пользуется благословением Господним. Ничто другое не дает столько счастья и не придает людям столько благородства. Никакое другое дело не укрепляет до такой степени веры в небесную мудрость, ничто так не сохраняет детскую невинность сердца, как работа в рудниках. Рудкоп родится бедным и в бедности умирает. Он довольствуется тем, что знает, где обретаются металлы, и тем, что извлекает их наружу; но ослепляющий блеск их не имеет власти над его чистым сердцем. Не поддаваясь опасному безумию, он более радуется их своеобразной формации, таинственности их происхождения и местопребывания, чем обладанию ими. Металлы теряют для него притягательную силу, когда становятся товаром, и он предпочитает искать их, не взирая на трудность и опасность, в недрах земли, чем следовать их зову в жизни, чем добывать их на земле обманом и коварством. Труд сохраняет свежесть его сердца и бодрость духа; он принимает с глубокой благодарностью скудную плату за свой труд и выходит на свет из недр земли каждый день с обновленной радостью. Только он и знает предельность света и покоя, отраду чистого воздуха и широкого горизонта; только он один вкушает еду и питье благоговейно и радостно, как причастие. И с какой любящей чуткой душой встречается он с товарищами, ласкает жену! и детей и радуется тихой беседе!

Его одинокий труд отделяет его в течение большей части его жизни от дневного света и от людей. Он поэтому не становится туго равнодушным к этим неземным проникновенным благам и сохраняет детскую душу; все открывается ему в своей обособленности и непосредственной пестрой таинственности. Природа не желает быть исключительным достоянием отдельного человека. Превращаясь в собственность, она становится зловредным ядом, прогоняющим покой, и рождает пагубное желание захватить все во

власть собственника; желание его ведет за собой бесчисленные заботы и дикие страсти. Природа тайно подкапывает почву под ногами собственника и вскоре хоронит его в раскрывающейся бездне для того, чтобы переходить самой из рук в руки; таким образом она постепенно удовлетворяет свое желание принадлежать всем.

Бедный, скромный рудокоп, напротив того, спокойно работает в своем глубоком отшельничестве, вдали от мятежной суеты дня, воодушевленный только любознательностью и любовью к единению и миру. В своем одиночестве он вспоминает с искренней сердечностью о товарищах и о семье, и в нем все более укрепляется уверенность во взаимной друг для друга необходимости людей и в том, что все соединены кровными узами. Его труд научает его неутомимому терпению, не допуская, чтобы внимание рассеивалось в бесполезных мыслях. Ему приходится иметь дело с капризной, твердой, непреклонной силой, которую можно преодолеть только упорным трудолюбием и постоянной бдительностью. Но каким дивным цветом расцветает на этих страшных глубинах истинное доверие к небесному отцу, рука и забота которого открываются рудокопу ежедневно в самых несомненных знаках. Сколько раз я сидел в глубине рудника, благоговейно рассматривая при свете моей лампы простое распятие! И тогда только я вполне понял священный смысл этого таинственного изображения и проник в самый благородный тайник моего сердца, из которого мог потом черпать без конца.

Старик помолчал несколько времени и снова начал. — Я считаю, — сказал он, — истинно божественным того человека, который научил людей искусству рудокопов и указал в лоне скал на этот глубокий символ человеческой жизни. В одном месте жила пробивается мощно и ясно, но она бедная, а в другом утес втиснул ее в жалкое незамечное ущелье, и там обретается самая благородная руда. Другие жилы понижают ее благородство, пока к ней не проникнет родственная жила, бесконечно повышая ее достоинство. Часто жила раскалывается перед рудокопом на тысячу обломков. Но тот, у кого есть терпение, не утрачен, а спокойно продолжает свой путь; усердие его вознаграждается, открывая ему новые возможности. Часто ложный след сбивает его с правильного пути; но он вскоре

видит свою ошибку и прорезывает путь поперек, пока снова не находит жилу. Рудокоп близко знакомится таким образом со всеми прихотями случая; но вместе с тем он убеждается, что усердие и постоянство—единственное средство справиться со случаем и добыть сокровища, упорно им скрываемые.

— У вас, наверное, нет недостатка в песнях, поднимающих дух,—сказал Гейнрих.— Мне кажется, что ваше ремесло должно вдохновлять к пению и что музыка должна быть желанной спутницей рудокopa.

— Это верно,—ответил старик.— Пение и игра на цитре постоянные спутники рудокopa и никто так не чувствует все очарование музыки, как он. Музыка и танцы—истинные радости рудокopов; они—точно веселая молитва; воспоминание о них и ожидание их облегчает тяжелый труд и сокращает долгое одиночество.

Если хотите, я сейчас пропою вам песню, которую много пели в моей молодости:

«Лишь тот земли властитель,
Кто в глубь ее проник,
В заветную обитель,
Где от сует отвык,

Кто понял скал строенье
И день свой трудовой
Проводит, полон рвения,
В великой мастерской.

Он отдал ей все силы,
С ней связан сердцем он
И, как невестой милой,
Всегда ей восхищен.

Огонь не гаснет нежный,
Любовь всегда сильна.
Не знает он, прилежный,
Ни отдыха, ни сна.

Есть дивные преданья
О временах былых.
От милой, в назиданье,
Услышит он о них.

Святая древность веет
Вокруг его чела,
И вечный свет лелеет
Пещер ночная мгла.

И каждый шаг вскрывает
Глухие тайники,
Земля благословляет
Труды его руки.

Ему на помощь воды
Ручьи свои стремят,
И каменные своды
Сокровища таят.

Струями золотыми
Обогащен дворец,
Украшен дорогими
Алмазами венец.

Он королю приносит
Дневную дань труда,
Но многого не просит
И беден, как всегда.

Их золото раздавит,
Их стубит алчный спор;
А он лишь вольность слав
Владыка ясных гор».

Гейнриху песня чрезвычайно понравилась, и он попросил старика спеть еще одну. Старик охотно согласился и сказал: — Я знаю еще одну странную песню, происхождение которой неизвестно нам самим. Ее привез один странствующий рудокоп, приехавший издалека. Песня очень понравилась своей необычностью. Она была темна и непонятна, как музыка, но именно этим она привлекла и занимала, как сон на яву:

«В далеком царстве замок есть,
Там день и ночь король проводит,
Чудесных слуг его не счесть;
Но сам он к свету не выходит.
Покои тайные свои
Хранит он стражей неприметной;
И только с кровли разноцветной
Струятся вечные ручьи.

Все, что в созвездиях сквозь тьму
Они увидят светлым взором,
Рассказывают все ему,
И нет конца их разговорам.
Он моется в них вновь и вновь,
В них члены нежные кунает,
И все лучи их отражает
Его сияющая кровь.

Тот замок был в пучине скрыт,
С тех пор прошло столетий много,
Он вниз ушел, но все стоит,
Лишь ввысь отрезана дорога.
И цепью окружил стальной
Всех подданных король могучий,
И веют, как знамена, тучи
Там, над скалистой вышиной.

У крепко запертых ворот
Стопились подданные вместе,
Здесь каждый короля поет,
Их песни полны сладкой лести.
Они довольны и горды,
Они не знают, что в неволе;
Они не просят лучшей доли,
Не чувствуют ни в чем нужды.

И лишь немногие хитрей.
Им царского не нужно дара;
Их замысел—скорей, скорей
Зарыть навеки замок старый.
Оковы тайны вековой
Падут, когда над темной бездной
Вдруг загорится луч небесный,
Блеснет свободы день живой.

Тому, кто смел, силен и прям,
Скала и пропасти не страшны;
Доверясь сердцу и рукам,
Он ищет короля, отважный.
Совет его из тайных зал,
Воюет с духом, духом полный,
И необузданные волны
Текут, куда он приказал.

Но вот, чем ближе вышина,
Чем дальше от пещер холодных,
Тем боле власть усмирена,
И все растет число свободных.
Оковы упадут—и вот,
Ворвется в замок вал суровый
И на зеленых крыльях снова
Нас милой родине вернет».

Когда старик кончил, Гейнриху показалось, точно он уже где-то слышал эту песню. Он попросил повторить ее и записал себе ее на память. После того старик вышел, и купцы заговорили с другими гостями о прибыльности горного дела и о трудностях его.

Один сказал:—Старик, наверное, не напрасно сюда явился. Он сегодня карабкался по холмам и, наверное, напал на хорошие приметы. Спросим его, когда он снова войдет.—Знаете,—сказал другой,—его можно было бы попросить, чтобы он поискал источник для нашей деревни. Вода от нас далека, и было бы очень приятно иметь хороший колодезь.—Мне пришло в голову,—сказал третий,—спросить его, не возьмет ли он с собой одного из моих сыновей, который все таскает домой камни. Он, наверное, мог бы сделаться хорошим рудокопом. Старик, кажется, человек хороший и мог бы сделать из моего сына толкового человека.—Купцы говорили также о том, что можно бы через рудокopa войти в сношения с Богемией и приобретать там металлы по хорошей цене. Старик снова вошел в комнату, и всем захотелось извлечь пользу из знакомства с ним. Он заговорил первый:—Как душно и жутко здесь в комнате,—сказал он.—Месяц ярко светит, и мне бы очень хотелось еще прогуляться. Я видел здесь днем по близости несколько замечательных пещер. Быть может, кто-нибудь из вас решится пойти со мной? И если мы запасемся светильниками, то без всякого затруднения можем осмотреть пещеры.

В деревне все хорошо знали эти пещеры, но никто не решался войти в них; ходили страшные слухи про драконов и разных чудовищ, таящихся там. Иные говорили, что сами их видели, и утверждали, что у входа находили кости похищенных и съеденных людей и животных. Другие говорили, что там живет дух, что несколько раз показывалась издали странная человеческая фигура, а ночью оттуда доносились песни.

Старик, видимо, не верил этим рассказам; он со смехом утверждал, что можно, во всяком случае, спокойно довериться охране рудокопа, потому что чудовища испугаются его, а что распеваящий песни дух, наверное, благодетельное существо. Многие из любопытства приняли его предложение; Гейнрих тоже пожелал сопровождать его, и мать сдалась, наконец, на уговоры старика,

пообещавшего охранять Гейнриха, и разрешила ему идти с ним. Купцы тоже присоединились. Набрали длинных лучин для факелов; часть общества, кроме того, запаслась лестницами, шестами, веревками и разными предметами для обороны. Так началось паломничество к близким холмам. Старик шел впереди с Гейнрихом и купцами. Крестьянин привел своего любознательного сына; тот с радостью взял факел и повел к пещерам. Вечер был ясный и теплый. Месяц мягко сиял над холмами и вызывал странные грезы. Он сам казался грезой солнца; он лежал над миром снов, погруженным в самосозерцание, и возвращал природу с ее бесчисленными гранями к мифическому первобытному времени, когда каждый зародыш еще покоился в непотревоженном одиночестве и тщетно стремился развернуть всю темную полноту своего безмерного бытия. В душе Гейнриха отражалась сказка вечера. У него было чувство, точно мир покоится в нем весь раскрытый и показывает ему, как дорогому гостю, все свои сокровища и скрытые красоты. Простое величие окружающего стало ему удивительно понятным. Природа казалась ему непостижимой лишь потому, что она нагромождает вокруг человека самое близкое и отрадное, с щедрым обилием разнообразных форм. Слова старика как бы раскрыли перед ним потайную дверь. Он увидел его маленькую комнату, расположенную вилотную у стены высокого собора. от каменных плит которого поднималось великое прошлое, в то время как с купола на встречу прошлому несло ясное, радостное будущее в образе золотых ангелочков. Мощные звуки дрожали, врываясь в серебристое пение, и в широкие двери вступали существа, каждое из которых высказывало свою внутреннюю сущность на своем обособленном наречии. Он удивлялся, что это ясное понимание, уже столь необходимое теперь для его существования, так долго не открывалось ему. Он обозрел вдруг все свои отношения к широкому миру вокруг него, почувствовал, чем он сделался благодаря миру, и чем мир может стать для него, и понял все странные представления и откровения, которые часто являлись ему при созерцании мира. Рассказ купцов о юноше, который так неустанно созерцал природу и сделался зятем короля, снова вспомнился ему, и тысячи других воспоминаний его жизни сами собой потекли,

связанные волшебной нитью. В то время, как Гейнрих предавался размышлениям, общество приблизилось к пещере. Вход был низкий; старик взял факел и пробрался во внутрь, карабкаясь по камням. Резкая струя воздуха подула ему в лицо, и старик заявил, что все могут спокойно следовать за ним. Самые боязливые шли позади и держали наготове оружие. Гейнрих и купцы следовали за стариком, а мальчик бодро шел рядом с ним. Дорога вела сначала по довольно узкому ходу, который, однако, вскоре привел в широкую и высокую пещеру; свет факелов не мог вполне ее осветить, но все же в глубине можно было различить несколько отверстий, терявшихся в скале. Почва была мягкая и довольно ровная; стены и потолок были тоже гладкие и довольно правильной формы. Но общее внимание привлечено было, главным образом, бесчисленным количеством костей и зубов, лежащих на земле. Многие сохранились в целости, на других были знаки разложения, а те, которые торчали в разных местах стены, казались окаменевшими. Большинство из них были необыкновенно большие и крепкие. Старик обрадовался этим останкам глубокой древности; крестьянам же было не по себе. Кости казались им явными следами близости хищных зверей, хотя старик ясно показывал им признаки глубокой древности на костях: он спрашивал их при этом, заметили ли они опустошение в своих стадах и могут ли они признать эти кости костями известных им зверей или людей. Старик предложил идти дальше вглубь горы, но крестьяне сочли более благоразумным выйти из пещеры и ждать у входа его возвращения. Гейнрих, купцы и мальчик остались со стариком и запаслись веревками и факелами. Они вскоре попали во вторую пещеру, при чем старик не забыл обозначить проход, из которого они вышли, фигурой, сложенной из костей. Вторая пещера похожа была на первую и там тоже находились в изобилии останки животных. Гейнриху сделалось страшно; ему казалось, что он бродит в преддверии подземного дворца. Небо и жизнь представились ему вдруг бесконечно далекими, а темные широкие своды показались частью странного подземного царства.

Возможно ли, думал он, что под нашими ногами движется целый мир со своей обособленной огромной жизнью? Возможно ли.

что в недрах земли живут небывалые существа, и что внутренний огонь темного царства претворяется в гигантские, мощные духом создания? Могли ли бы эти страшные незнакомцы, выгнанные наружу проникающим во внутрь холодом, появиться когда-нибудь среди нас, при чем, быть может, одновременно открылись бы нашим взорам небесные гости, живые, говорящие силы созвездий над нашими головами? Представляют ли собой эти кости остатки их устремления вверх, или же это знаки бегства вглубь?

Вдруг старик призвал остальных и показал им свежие следы человеческих ног на земле. Следы были только одного человека, и старик решил, что можно пойти по ним, не боясь наткнуться на разбойников. Они только что собрались выполнить свое намерение, как вдруг, словно под ногами их, далеко из глубины, раздалось пение. Они очень удивились, но стали внимательно прислушиваться:

«Смейся ночью голубою,
Милых уз земных не рви.
Каждый день перед тобою
Чаша полная любви.

Брызни, Божья влага, брызни,
В небо вознеси мой взгляд.
Опьяненный, в этой жизни
Я стою у райских врат.

В ласке сладостной витаю,
Дух мой не страшится зла.
Мне Царица жен святая
Сердце верное дала.

Скорбью долгой и унылой
Прах мой бедный просветлен.
В нем сияет образ милый.
Вечность обещает он.

Как мгновенье, как мечтанье,—
Этих дней несчетный ряд.
Но взгляну я в день прощанья
С благодарностью назад».

Все были приятно поражены и загорелись желанием найти певца.

После поисков, они увидели в углу, в правой боковой стене вход вниз, куда вели следы ног. Вскоре издали как будто мелькнул просвет, который все более определялся по мере их приближения. Открылась еще одна пещера, более просторная, чем другие, и в глубине ее они увидели человека, сидевшего за лампой; пред ним лежала на каменной плите большая книга, которую он читал.

При их появлении он обернулся, поднялся и пошел навстречу. Возраста его никак нельзя было угадать. Он казался ни молодым, ни старым; время не оставило на нем никаких следов, кроме серебристых волос, с гладким пробором на лбу. В глазах его светилась несказанная бодрость, точно он глядел со светлой горы на бесконечную весну. У него были привязаны к ногам подошвы и вся его одежда, повидимому, заключалась в широком плаще, в который он завернулся; плащ этот ясно обрисовывал его благородный высокий стан. Неожиданное появление пришельцев как будто совсем не удивило его; он поздоровался с ними, как знакомый; казалось, что он принимает у себя в доме приглашенных гостей.

— Как хорошо, что вы навестили меня, — сказал он. — Вы первые друзья, которых я здесь вижу, хотя живу здесь давно. Повидимому, теперь начинают ближе присматриваться к нашему дивному большому дому.

— Мы не предполагали, — ответил старик, — что встретим здесь столь любезного хозяина. Нам говорили, что здесь обретаются дикие звери и призраки, и мы самым приятным образом обмануты в своих ожиданиях. Если же мы помешали вам предаваться вашим глубоким размышлениям, то простите нас за любопытство.

— Что может быть отраднее,—сказал незнакомец,—чем видеть бодрые, приятные лица. Не считайте меня нелюдимым только потому, что вы застали меня здесь в одиночестве. Я не бежал от мира, а только искал места отдохновения, где мог бы спокойно предаваться моим размышлениям.

— А вы никогда не раскаивались в своем решении? Не бывает разве у вас часов, когда вам становится жутко и когда сердце ваше жаждет услышать человеческий голос?

— Теперь этого уже не бывает. Было время в моей молодости, когда горячая мечтательность побудила меня стать отшельником. Смутные предчувствия занимали мою юношескую фантазию. Я надеялся вполне утолить жажду моего сердца в уединении. Источник моей внутренней жизни казался мне неисчерпаемым. Но вскоре я понял, что нужно в пустыню принести богатый опыт, понял, что пока сердце молодо, оно будет томиться в одиночестве, и что человек приобретает некоторую самостоятельность только в общении с другими людьми.

— Я сам полагаю,—ответил старик,—что бывает естественное призвание ко всякого рода жизни и что, быть может, опытность надвигающейся старости естественно ведет к отчуждению от общества людей. Общество должно быть деятельным во имя самосохранения и ради своей пользы. Движущей силой в нем являются большие надежды или общие цели, так что дети и старики как бы исключены из его жизни. Детей исключает их беспомощность и их неведение, а стариков преисполняет надежда видеть цель осуществленной; отделившись от общества, они хотят углубиться в собственную душу и с достоинством готовиться к высшему общению. Но у вас, кажется, были еще особые причины, побудившие вас отдалиться от людей и отказаться от всех удобств общечеловечности. Я полагаю, что все же иногда ваше душевное напряжение падало, и вам тогда бывало жутко.

— Я действительно испытывал жуткое чувство, но сумел победить его строгой правильностью жизни. Кроме того, я стараюсь сохранить здоровье при помощи движения и благодаря этому чувствую себя хорошо. Я хожу каждый день по несколько часов и наслаждаюсь, насколько только возможно, солнечным, светом и воз-

духом. Остальное время я провожу здесь и занимаюсь плетением корзиночек и резьбой. Мои товары я обмениваю в далеких деревнях на жизненные припасы. Я также привез с собой книги, и время пролетает, как мгновение. У меня есть несколько знакомых, которым известно место моего пребывания, и которые сообщают мне о том, что делается на свете. Они похоронят меня, когда я умру, и возьмут мои книги.

Он подвел их к своему сиденью близ стены пещеры. На земле лежало несколько книг и, кроме того, цитра, а на стене висели рыцарские доспехи, повидимому, очень драгоценные. Стол сделан был из пяти больших каменных плит, составленных в виде ящика. На верхней плите высечены были две человеческие фигуры, мужская и женская, в полный рост; они держали в руках венок из лилий и роз. По бокам была надпись:

«Фридрих и Мария фон - Гогенцолерн вернулись здесь на свою родину».

Пустынный спросил своих гостей, откуда они родом и как попали в эти места. Он был очень приветлив, говорил открыто и обнаруживал большое знание света.

Старик сказал:—Вижу, что вы были воином; ваши доспехи выдают вас.

— Опасности и переменные судьбы войны, высокое поэтическое воодушевление, охватывающее войско в походах, вырвали меня из моего юношеского уединения и определили мою дальнейшую жизнь. Очень возможно, что постоянный шум, множество событий, в которых я принимал участие, еще более усилили во мне жажду одиночества: бесчисленные воспоминания составляют очень приятное общество. Минувшие события становятся все более занимательными по мере того, как меняется наш взгляд на них, потому что только изменившийся взгляд может раскрыть правду их соотношений, глубину их сцепления, а также и истинный их смысл. Понимание того, что происходит с людьми, появляется уже поздно и скорее под влиянием воспоминаний, чем под более напряженными впечатлениями текущей минуты. Самые близкие события кажутся лишь слабо связанными между собой, но тем чудеснее сплетаются они с более далекими. И только, когда есть

возможность обозреть целый ряд происшествий и уже не принимать все непосредственно, но вместе с тем и произвольно не запутывать их действительное сцепление собственной фантазией, тогда начинаешь замечать тайное сплетение минувшего и грядущего, тогда начинаешь строить историю из надежды и воспоминаний. Но только тому, кто ясно помнит все минувшее, могут открыться простые законы истории. Мы приходим лишь к несовершенным и затруднительным формулам и рады, когда находим для самих себя пригодные правила, которые помогают нам справиться с нашей собственной короткой жизнью. Могу только сказать, что всякое тщательное созерцание жизненных судеб доставляет глубокое неисчерпаемое наслаждение и более всяких других мыслей возвышает нас над земными печальми. Юность читает историю только из любопытства, как занимательную сказку. В зрелом возрасте история становится небесной, утешающей и поучающей подругой, которая своими мудрыми речами мягко подготавливает человека к высшей, более широкой жизни и знакомит его с неведомым миром при посредстве понятных образов. Церковь—обиталище истории и кладбище—ее символический сад. Историю должны писать только старые благочестивые люди, собственной истории которых уже наступил конец, так что им остается надеяться лишь на то, что их переселят в кладбищенский сад. Их повествование будет не мрачным и не печальным; напротив того, луч из купола покажет им все в прекрасном и истинном свете, и святой дух будет носиться над этими странно бушующими водами.

— Как правдива и убедительна ваша речь,—сказал старик.— Конечно, следовало бы с большим рвением точно записывать все достопримечательное своего времени и передавать, как благочестивый завет, грядущим поколениям. Есть тысячи более отдаленных дел, которым посвящают силы и труд, а как раз о самом близком и важном, о судьбах собственной жизни и жизни наших близких, нашего рода, некоторую упорядоченность которой мы постигаем в понятии о провидении—об этом как раз мы менее всего думаем и легкомысленно даем изгладиться следам пережитого в нашей памяти. Как святыню, более мудрое потомство будет изучать все, что касается событий минувшего. Даже жизнь отдельного

незначительного человека не будет казаться безразличной, ибо в ней, наверное, так или иначе отражается великая жизнь его современников.

— Печально только то, — сказал граф Гогенцолерн, — что даже те немногие, которые записывали деяния и события своего времени, делали это не размышляя и не старались придать своим наблюдениям цельность и связность; они совершенно произвольно выбирали и собирали свои сведения. Каждый легко видит по себе, что он мог бы записать ясно и цельно лишь то, что знает в точности во всех составных явлениях, во всей последовательности; иначе выйдет не описание, а путанный набор разрозненных замечаний. Пусть дадут ребенку описать машину или крестьянину — корабль; из их слов никто не извлечет никакой пользы. Точно так же обстоит дело с большинством историков; они, быть может, умеют рассказывать и даже чрезмерно словоохотливы. Но вместе с тем они забывают самое важное, то, что делает историю историей и объединяет случайное в поучительное целое. Вникая в это, я вижу, что историк непременно должен быть поэтом; только поэты обладают искусством умело связывать события. В их рассказах и вымыслах я с тихой радостью подмечал тонкое проникновение в таинственную сущность жизни. В их сказках больше правды, чем в ученых летописях. Хотя их герои и судьбы их выдуманы, но все же смысл выдумок правдивый и жизненный. Для нашего наслаждения и назидания в сущности безразлично, действительно ли жили или не жили те, чья жизнь отражает нашу собственную. Мы требуем, чтобы нам показали великую, простую душу современности, и если наше желание исполнено, то нам нет дела до случайного существования внешних обликов.

— Я тоже, — сказал старик, — всегда любил поэтов по той же причине. Жизнь и мир стали для меня более ясными и действительными через их посредство. Мне казалось, что они, наверное, в дружбе с духами света, пронизывающими все существа и набрасывающими на все своеобразный, нежно окрашенный покров. При звуке их песен моя собственная душа легко раскрывалась; казалось, она может свободнее двигаться, радоваться своим желаниям, переживать тысячи очаровательных ощущений.

— Жили ли в ваших местах какие-нибудь поэты? Дала ли вам судьба такое счастье? — спросил отшельник.

— Бывало иногда, что у нас жили поэты, но они любили путешествовать и большей частью не долго у нас оставались. Впоследствии я встречал поэтов во время моих странствований по Иллирии, по Саксонии и Швеции, и о них у меня сохранились самые светлые воспоминания.

— Так вы, значит, далеко ездили и, наверное, видели много достопримечательного.

— Наше дело такое, что почти по необходимости приходится много где бывать. Рудокopa гонит с места на место как бы подземное пламя. Одна гора отсылает его к другой. Ему открывается бесконечно многое, и всю свою жизнь он учится той своеобразной архитектуре, которая создала и выровняла почву под нашими ногами. Наше мастерство старинное и широко распространенное. Оно, быть может, пришло с востока вместе с солнцем и направилось, как весь род человеческий, на запад, а также от середины к окраинам. Ему приходилось всюду бороться с разными трудностями, и так как всегда потребность ведет человеческий дух к полезным открытиям, то и рудокop увеличивает всюду свое понимание и свое умение и обогащает родину своим опытом.

— Вы точно астрологи на изнанку, — сказал отшельник. — Как те, не отводя глаз, созерцают небо и блуждают по его необозримым пространствам, так вы устремляете взор на поверхность земли и постигаете ее строение. Они изучают силы и влияние звезд, а вы исследуете свойства утесов и гор и разнообразные влияния земляных и каменных пластов. Для них небо — книга будущего, вам же земля являет памятники самой глубокой древности.

— Это сопоставление не лишено смысла, — с улыбкой сказал старик. — Сияющие пророки играют, быть может, главную роль в древней истории чудесного строения земли; быть может, со временем их лучше узнают и объяснят из их творений, а творения их из них самих. Быть может, великие горные цепи являют следы их прежних путей; быть может, они хотели сами себя питать и следовать по небу собственным путем. Некоторые смело поднялись, чтобы тоже сделаться звездами, и зато они лишены прекрасного

зеленого одеяния более низких мест. Они за это ничего не получили, кроме того, что помогают своим отцам устанавливать погоду, и того, что они стали пророками для долин, то охраняя их, то наводняя бурями.

— С тех пор, как я живу в этой пещере,—продолжал пустыжник,—я научился больше размышлять о старине. Нельзя выразить, до чего это увлекательно, и я могу себе представить, как рудокоп должен любить свое дело. Глядя на странные старые кости, которых здесь такое огромное количество, я переношусь мыслью в то дикое время, когда эти неведомые огромные животные врывались толпами сюда в пещеры, быть может, охваченные страхом, и здесь находили смерть; а потом я думаю о тех временах, когда эти пещеры срослись, когда бесконечные потоки покрыли землю, и я кажусь самому себе мечтой о будущем, сыном вечного мира. Как спокойна и миролюбива, как кротка теперь природа в сравнении с теми временами исполинского насилия. Самые страшные бури, самые ужасающие землетрясения наших дней лишь слабый отзвук тех страшных родовых мук. Быть может, даже животный и растительный мир, быть может, и тогдашние люди, если они существовали на отдельных островках в этом океане, имели другое, более крепкое и более грубое сложение; во всяком случае, не следовало бы считать выдумками сказания о племени великанов.

— Отрадно, — сказал старик, — отмечать постепенное успокоение природы. Образовалось шаг за шагом более тесное единение, более мирное общение, взаимная поддержка и оживление, так что мы можем ожидать все лучших и лучших времен. Возможно, конечно, что от времени до времени проявится еще старое брожение и, несомненно, предстоит еще несколько страшных сотрясений, но все же чувствуется мощное стремление к свободному, мирному строю, и каждое сотрясение будет свершаться в таком духе и приближать к великой цели. Возможно, что природа уже не так плодородна, как прежде, что теперь уже не зарождаются металлы и драгоценные камни, не появляются новые горы и скалы, что растения и животные уже не достигают прежней изумительной величины и прежней силы; но по мере того, как истощалась

производительность природы, увеличивались ее созидающие, облагораживающие и общительные силы; ее душа становилась более чуткой и нежной, ее фантазия более богатой и творческой, ее рука более легкой и искусной. Природа приближается к человеку, и если прежде она была диким утесом, то теперь сделалась тихо развивающимся растением, безмолвной человеческой художницей. Да и зачем было бы умножать сокровища, избытка которых хватит на неисчислимые времена? Как мало пространство, по которому я прошел, и какие бесчисленные богатства я сразу увидел на нем, пользоваться которыми уже дано будет потомству. Сколько богатств таят горы на севере, сколько нашел я их в моем отечестве, в Венгрии, у подошвы Карпатских гор, в скалистых долинах Тироля, Австрии и Баварии. Я был бы богатым человеком, если бы смог взять с собой все, что мне стоило только поднять с земли, отломать. Во многих местах я точно попадал в волшебный сад. То, что я видел, было искусно составлено из прекрасных металлов. На прелестных завитках и на ветвях из серебра висели сверкающие, красные, как рубин, прозрачные плоды, и тяжелые деревья стояли на хрустальных подножках неподражаемой работы. Трудно было верить своим глазам, озираясь в этих волшебных местах, и хотелось без усталости бродить по дивным пустыням и восхищаться их сокровищами. Во время моего теперешнего путешествия я тоже видел много диковинок, а в других странах земля, наверное, такая же плодородная и щедрая.

— Если вспомнить,—сказал незнакомец,—о сокровищах, имеющих на востоке, то в этом нет ^бникого сомнения; точно так же дальняя Индия, Африка и Испания известны были уже в древности богатствами своей почвы. На войне люди, конечно, не вглядываются в расщелины гор; но все же я иногда обращал внимание на сверкающие полосы, которые, точно странные почки, предвещают неожиданные цветы и плоды. Я и не представлял себе, когда проходил, радуясь сиянию солнца, мимо этих темных жилищ, что закончу свою жизнь в недрах горы. Моя любовь гордо уносила меня в высь и я надеялся, что когда-нибудь усну на веки в ее объятиях. Война кончилась, и я вернулся домой в радостном ожидании благодатной осени. Но дух войны сделался властителем

моей судьбы. Моя Мария родила мне на востоке двух детей. Они были радостью нашей жизни. Морское плавание и резкий западный воздух расстроили их здоровье. Я похоронил их вскоре после того, как вернулся в Европу. Горестно повез я мою безутешную жену на родину. Тихая скорбь подточила ее жизнь. Во время путешествия, которое мне пришлось предпринять вскоре после того, она внезапно тихо умерла на моих руках. Здесь, по близости от этой пещеры, кончилось наше земное странствование. Мое решение созрело сразу. Я нашел, чего никогда не ожидал; божественное внушение озарило меня, и с того дня, как я ее здесь сам похоронил, неземная рука сняла всю скорбь с моего сердца. Гробницу я воздвиг потом. Часто событие кажется свершившимся, когда оно собственно только что начинается; это произошло и в моей жизни. Да ниспошлет вам всем Господь счастливую старость и такое спокойствие души, как у меня.

Гейнрих и куницы внимательно слушали его, и Гейнрих в особенности почувствовал, как в его отзывчивой душе раскрываются новые силы. Некоторые слова, некоторые мысли падали, как животворящая пыль, в его душу и быстро поднимали его из тесного круга его юности на высоту мира. Точно на долгие годы назад отодвинулись от него только что пережитые часы, и ему казалось, что он никогда иначе не думал и не чувствовал.

Отшельник показал им свои книги. Это были старые летописи и стихи. Гейнрих стал перелистывать большие красивые фолианты; короткие строчки стихов, заглавия, отдельные места и прекрасные картины, которые, словно воплощенные в образы слова, приходили на помощь воображению читателя, сильно возбуждали его любопытство. Отшельник это заметил и объяснил ему содержание странных картин. На них изображены были самые разнообразные события: битвы, погребения, свадьбы, кораблекрушения, пещеры и дворцы. Короли, герои, священники, старики и юноши, люди в чужеземных одеждах и странные животные появлялись в разных сочетаниях. Гейнрих не мог наглядеться на них, и ему ничего так не хотелось, как остаться у отшельника, неотразимо привлекавшего его, и слушать его объяснения книг. Старик спросил, нет ли еще других пещер, и отшельник сказал ему, что есть еще

несколько очень больших по близости, и предложил повести его туда. Старик охотно согласился; отшельник, видя, что его книги так нравятся Гейнриху, предложил ему остаться и продолжать читать. Гейнрих с радостью согласился, искренно поблагодарив отшельника. Он стал с бесконечным наслаждением перелистывать книги. Наконец, ему в руки попала книга, написанная на чужом языке, несколько похожим на латинский и на итальянский. Ему страстно захотелось знать этот язык, так как книга ему очень понравилась, несмотря на то, что он ни слова не понимал в ней. Книга не имела заглавия, но он нашел в ней несколько картинок; они показались ему удивительно знакомыми. Продолжая разглядывать их, он открыл свое собственное изображение среди других фигур. Он испугался, не поверил своим глазам, но, продолжая глядеть, уже не мог более сомневаться в полном сходстве. Он прямо не поверил себе, когда вскоре увидел на другой картине пещеру, отшельника и старика подле себя. Постепенно он нашел на других картинах восточную женщину, своих родителей, тюрингенского ландграфа и ландграфиню, своего друга, придворного капеллана, и много других знакомых; но одежда на них была другая, и они точно были людьми другого времени. Множество других фигур он не знал по имени, но все же они казались ему знакомыми. Свое изображение он увидел в различных видах. К концу он нашел себя представленным более высоким и более благородной осанки. В руках у него была гитара, и ландграфиня передавала ему венок. Он увидел себя при императорском дворе, на корабле, обнимающим стройную красивую девушку, в бою с дикими на вид людьми, и в дружеской беседе с сарацинами и маврами. Рядом с ним часто появлялся человек с серьезным лицом. Он чувствовал глубокое благоговение перед этим высоким человеком, и ему было приятно стоять рука об руку с ним. Последние картины были темные и непонятные; но некоторые фигуры его сновидения восхитили его. Конца книги видимо не доставало. Гейнрих был очень огорчен и ему страстно захотелось прочесть книгу и получить ее в собственность. Он несколько раз просмотрел картины и почти испугался, услышав шум шагов, когда вернулись старик и отшельник. Станный стыд овладел им.

Он не решился рассказать о своем открытии, захлопнул книгу и только спросил отшельника, как она называется, и на каком языке она написана. Отшельник сказал, что книга написана на провансальском наречии.

— Я уже очень давно читал ее,—сказал отшельник,—и не могу хорошенько вспомнить ее содержания. Насколько знаю, это роман об удивительных судьбах одного поэта, и в романе этом дар поэзии превозносится и изображается в самых разнообразных проявлениях. Конца рукописи не достаёт. Я привез ее из Иерусалима, где нашел ее среди имущества, оставшегося после умершего друга, и сохранил в память о нем.

Они попрощались, и Гейнрих был тронут до слез. Пещера явила ему так много достопримечательного, и отшельник ему очень понравился.

Все сердечно обняли отшельника, и он, видимо, тоже всех их любил. Гейнриху показалось, что он смотрит на него ласковым, проникательным взором. Слова, которые он сказал ему на прощанье, были особенно знаменательны. Он точно знал об открытии Гейнриха и дал ему это понять. Он проводил их до выхода из пещер и затем попросил их, и в особенности мальчика, не говорить о нем крестьянам, потому что иначе ему не будет житья от приставаний.

Они все обещали. Когда они прощались с ним и просили его помянуть их в своих молитвах, он сказал:—Пройдет время и мы снова увидимся и будем с улыбкой вспоминать о сегодняшних речах. Небесный день будет окружать нас и, мы будем радоваться, что дружески встретились в долинах испытания и были воодушевлены одинаковыми мыслями и чувствами. Это ангелы, которые верно направляют здесь наши шаги. И если ваш взор будет прикован к небу, вы никогда не собьетесь с пути на родину.—Они расстались с тихой грустью, затем вскоре вернулись к своим несмелым товарищам и дошли среди разговоров до деревни, где мать Гейнриха, сильно встревоженная его долгим отсутствием, радостно встретила их.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Людам, рожденным для деятельной жизни, нужно очень рано все самим постигать и оживлять. Им необходимо приложить всюду самим руку, закалить дух против впечатлений нового положения, против рассеивающего влияния многих и разнообразных предметов, и они должны приучиться идти к цели даже под напором великих событий и умело проводить ее через них. Они не должны уступать соблазну тихого созерцания. Душа их не должна быть сосредоточенной в себе зрительницей; она должна неустанно проявляться и быть ревностной, решительной служанкой разума. Они герои, и вокруг них теснятся события, которые требуют управления и разрешения. Все случайности становятся историей под их влиянием, и жизнь их непрерывная цепь замечательных и блестящих, запутанных и своеобразных событий.

Иначе обстоит дело со спокойными неведомыми людьми, мир которых составляет их дух, деятельность которых—созерцание, жизнь которых—медленное нарастание внутренних сил. Никакое беспокойство не влечет их в открытую жизнь. Тихое обладание удовлетворяет их и необозримое зрелище того, что происходит вне их, не вызывает в них желания принимать самим участие во всем, а кажется достаточно значительным, достаточно изумительным для того, чтобы отдать весь свой досуг созерцанию. Потребность познать смысл событий заставляет их держаться вдали, и это предназначает их для таинственной роли души мира, в то время, как люди деятельные являются членами окружающей среды, органами ее чувства, наглядно выступающими силами ее.

Большие и многообразные события помешали бы им. Их назначение—простая жизнь, и лишь из рассказов и писаний знакомятся они с богатым содержанием и бесчисленными явлениями

мира. Лишь редко в течение их жизни какое-нибудь событие может на некоторое время втянуть их в свой быстрый вихрь, чтобы точнее ознакомить их путем опыта с положением и характером людей деятельных. Но зато их тонкое чутье достаточно занято близкими незначительными явлениями, которые представляют им великий мир помолодевшим, и они делают на каждом шагу удивительнейшие открытия в самих себе относительно сущности и значения этих явлений. Таковы поэты, эти редкостные залетные птицы среди нас; они проходят иногда по нашим селениям и всюду обновляют старый великий культ человечества и первых его богов, звезд, весны, любви, счастья, плодородия, здоровья и радости. Они, которые уже обрели небесный покой, и не подвластны никаким суетным желаниям, вдыхают лишь аромат земных плодов, не поедая их, и потому не прикованы безнадежно к изменному миру. Они свободные гости; их золотая нога легко ступает и в присутствии их у всех невольно распускаются крылья. Поэта, как доброго короля, можно угадать по ясным веселым лицам окружающих, и он один вправе назваться мудрецом. Если сравнить его с героем, то окажется, что песни поэта нередко рождают героизм в молодых сердцах, но героические поступки никогда еще ни в ком не пробуждали духа поэзии.

Гейнрих был рожден поэтом. Самые разнообразные обстоятельства соединились для его развития, и ничто не нарушало его внутренней отзывчивости. Все, что он видел и слышал, как бы отодвигало в нем новые засовы и открывало новые окна. Мир лежал перед ним в своих великих меняющихся судьбах. Но он еще был для него немым; душа мира, слово, еще не проснулось. Уже близился поэт, держа за руку милую девушку, чтобы звуками родного языка и прикосновением нежных губ раскрыть неискусные уста и претворить простое созвучие в беспредельные мелодии.

Путь кончился. Под вечер наши путники благополучно и радостно въехали в знаменитый город Аугсбург. Окрыленные ожиданием, они направились по высоким улицам к почтенному дому старого Шванинга.

Гейнриху уже самая местность показалась очаровательной. Оживленный шум города и большие каменные дома приятно по-

разили его. Он искренно восхищался своим будущим местопребыванием. Его мать радовалась тому, что после долгого, трудного пути она прибыла в любимый родной город, с надеждой вскоре обнять отца и своих старых друзей, представить им Гейнриха и на время забыть о всех домашних заботах среди отрадных воспоминаний юности. Купцы надеялись вознаградить себя городскими удовольствиями за тяжелый путь, а также преуспеть в делах.

Дом старого Шванинга был освещен, и оттуда доносилась веселая музыка.

— Вот увидите, — сказали купцы, — что у вашего дедушки сегодня веселый пир. Мы попали как раз во время. Как он изумится незванным гостям. Ему и не снится, что настоящий пир еще впереди. Гейнрих был несколько смущен, а мать его была озабочена только своей одеждой. Они подъехали к дому; купцы остались при лошадях, а Гейнрих с матерью вступили в пышный дом. Внизу не оказалось никого из слуг. Им пришлось подняться по широкой винтовой лестнице. Мимо них прошли несколько слуг, которых они попросили доложить старому Шванингу о прибытии незнакомцев, желающих с ним поговорить. Слуги сначала колебались, так как вид путешественников был не очень внушительный, но все же пошли доложить хозяину. Старый Шванинг вышел к ним. Он не узнал их сразу и спросил, кто они и что им нужно. Мать Гейнриха заплакала и бросилась ему на шею.

— Неужели вы не узнали вашу дочь?—спросила она в слезах.—Я привезла вам моего сына.

Старик был крайне растроган. Он долго прижимал ее к груди; Гейнрих опустился на колени и нежно поцеловал его руку. Он обнял мать и сына.

— Войдемте скорее,—сказал Шванинг.—У меня собрались все друзья и знакомые, которые разделят мою радость.

Мать Гейнриха сначала колебалась, но у нее не было времени одуматься. Отец провел обоих в высокую освещенную залу.

— Вот моя дочь и мой внук из Эйзенаха,—объявил Шванинг веселому, нарядному собранию.

Все взоры обратились к дверям; все сбежались, музыка

замолкла, и путники стояли ослепленные и смущенные в своих пыльных одеждах среди пестрой толпы. Тысячи радостных восклицаний переходили из уст в уста. Старые знакомые обступили мать. Начались бесчисленные распросы. Каждый хотел поздороваться первым. В то время как старшие члены общества были заняты матерью, внимание молодежи обращено было на незнакомого юношу, который стоял, опустив глаза, и не решался взглянуть на незнакомые лица. Дедушка познакомил его с обществом и осведомился об его отце и о впечатлениях путешествия.

Мать вспомнила о кунцах, которые из любезности остались при лошадях. Она сказала об этом отцу, который тотчас же послал пригласить путников наверх. Лошадей отвели в конюшню, и кунцы вошли в залу.

Шванинг сердечно поблагодарил их за их заботы о дочери. У них было много знакомых среди присутствовавших, и они дружески поздоровались с ними. Матери хотелось почиститься и переодеться. Шванинг повел ее к себе. Гейнрих последовал за ними. Среди гостей Гейнриху бросился в глаза человек, которого, как ему казалось, он много раз видел в книге с изображениями около себя. Его благородная внешность выделяла его среди всех других. Лицо его было серьезное и ясное; открытый широкий лоб, большие, черные, провицательные глаза, лукавая складка у веселого рта и мужественная фигура—все это делало его значительным и привлекательным. Он был сильного сложения, движения его были спокойны и выразительны, и ему точно хотелось вечно стоять там, где он стоял. Гейнрих спросил дедушку про него.

— Я рад,—сказал старик,—что ты его сейчас же заметил. Это мой добрый друг Клингсор; он поэт. Его знакомством и близостью ты можешь больше гордиться, чем дружбой короля. Но как насчет твоего сердца? У Клингсора красивая дочь; быть может, она затмит в твоих глазах своего отца. Неужели ты ее не заметил в зале?

Гейнрих покраснел.

— Я не успел внимательно осмотреть гостей, милый дедушка,—сказал он.—Общество слишком многочисленное, и я смотрел только на вашего друга.

— Видно, что ты приехал с севера,—ответил Шванинг.—У нас ты оттаешь. Мы научим тебя замечать красивые глаза.

Гейнрих и его мать переоделись и вернулись в залу, где тем временем сделаны были приготовления к ужину. Старый Шванинг подвел Гейнриха к Клингсору и сказал ему, что юноша его сразу заметил и выразил желание познакомиться с ним.

Гейнрих смутился. Клингсор ласково заговорил с ним о его родине и о его путешествии. Его голос был такой ласковый, что Гейнрих скоро оправился и заговорил с ним совершенно свободно. Через несколько времени к ним подошел Шванинг с красавицей Матильдой.

— Займитесь моим робким внуком,—сказал он,—и простите ему, что он заметил вашего отца раньше, чем вас. Блеск ваших глаз пробудит в нем спящую юность. На его родине весна приходит поздно.

Гейнрих и Матильда покраснели. Они с удивлением взглянули друг на друга. Она едва слышно спросила его, любит ли он танцы. Как раз в ту минуту, когда он ответил утвердительно, раздались звуки веселой музыки для танцев. Гейнрих молча протянул руку Матильде, она дала ему свою и они вместились в ряды пар, кружившихся в вальсе. Шванинг и Клингсор следили за ними взглядами. Мать и купцы восхищались ловкостью Гейнриха, а также его очаровательной дамой. Мать неустанно говорила с подругами юности, которые поздравляли ее с таким красивым и многообещающим сыном.

Клингсор сказал Шванингу:—У вашего внука привлекательное лицо. Оно свидетельствует о ясной, отзывчивой душе, и голос его звучит сердечно.

— Я надеюсь,—ответил Шванинг,—что он сделается вашим учеником и многому от вас научится. Мне кажется, он рожден стать поэтом. Да снизойдет на него ваш дух. Он похож на своего отца, но, кажется, не так вспыльчив и не так упрям.

Отец его был в молодости очень одарен, но ему недоставало широты духа. А то бы из него вышло нечто большее, чем прилежный и умелый работник.

Гейнриху хотелось, чтобы танец никогда не кончался. Он

с искренней радостью глядел на зарумянившееся лицо своей дамы. Ее невинный взор не избегал его. Она казалась как бы духом своего отца в очаровательном преображении. В ее больших спокойных глазах светилась вечная молодость. На светлоголубом фоне мягко блестели звезды карих зрачков. Лоб и нос нежно сочетались с ними. Лицо ее казалось лилией, обращенной к восходящему солнцу, и от белой стройной шеи поднимались голубые жилки по нежным щекам. Голос, ее был точно далекое эхо, и темная кудрявая головка как бы парила над легким станом.

Стали вносить блюда, и танцы кончились. Старшие сели с одной стороны стола, а молодежь—с другой.

Гейнрих сел рядом с Матильдой. Одна молодая родственница села с его левой стороны, а Клингсор сел напротив. Насколько молчалива была Матильда, настолько словоохотливой оказалась другая его соседка, Вероника. Она сразу вошла с ним в дружбу и рассказала ему о всех присутствующих. Гейнрих многого не слышал. Он занят был Матильдой и ему хотелось почаще обращаться направо. Клингсор положил конец болтовне Вероники. Он спросил Гейнриха о ленте со странными фигурами, которую юноша прикрепил к скюртуку. Гейнрих рассказал о восточной женщине так трогательно, что Матильда заплакала, и Гейнрих сам тоже едва удерживался от слез. Благодаря этому, он вступил с ней в беседу. Все разговорились; Вероника смеялась и шутила со своими знакомыми. Матильда рассказала о Венгрии, куда часто ездил ее отец, и о жизни в Аугсбурге. Всем было весело. Музыка рассеяла стеснение и вовлекла всех в веселую игру. Пышные корзины цветов благоухали на столе, и вино порхало между блюдами и цветами; потряхивая своими золотыми крыльями, оно ставило пестрые перегородки между внешним миром и пирующими. Теперь только Гейнрих понял, что такое пир. Ему казалось, что тысяча веселых духов резвится вокруг стола, радуется радостями людей и опьяняется их наслаждениями. Радость жизни возникла перед ним точно звучащее дерево, отягченное золотыми плодами. Зла не было видно; ему казалось невозможным, чтобы когда либо людям хотелось обратиться от этого золотого дерева к опасным плодам познания, древу войны. Теперь он стал понимать, что такое вино и

яства. Все казалось ему необыкновенно вкусным. Небесный елей приправлял ему пищу, а в бокале сверкала дивная прелесть земной жизни. Несколько девушек принесли старому Шванингу свежий венок. Он надел его, поцеловал девушек и сказал:—Нашему другу Клингсору принесите тоже венок; в благодарность мы оба научим вас нескольким новым песням. Мою песню я вам сейчас спою. Он дал знак музыке и запел громким голосом:

«Наш ли жребий да не жалок?
 Нам ли бедным не роптать?
 Выростая из под палок,
 В прятки учимся играть.
 Да и жаловаться тоже
 Часто—упаси нас Боже!

Нет, с родительским уроком
 Нам не сжиться никогда.
 Жаждем мы упиться соком
 Запрещенного плода.
 Милых мальчиков так сладко
 К сердцу прижимать украдкой!

Как? И мысли даже грешны?
 И на мысли есть налог?
 У малютки безутешной
 Даже грезы отнял рок?
 Нет, вам цели не достигнуть,
 И из сердца грез не выгнать!

За молитвою вечерней
 Мы боимся пустоты.
 Все страстнее, все безмерней
 И тоскливее мечты.
 Ах, легко ль сопротивляться?
 И не слаше ль вдруг отдаться!

Мать дает нам предписание
Прятать прелести—но вот,
Не поможет и желанье,—
Сами просятся вперед!
От тоски, от страстной жажды
Узел разорвется каждый.

Быть глухой ко всяким ласкам,
Каменной и ледяной,
Не мигнуть красивым глазкам,
Быть прилежной, быть одной,
Отвечать на вздох презреньем:—
Это ль не назвать мученьем?

Отняли у нас отраду,
Мука девушку гнетет,
И ее за все в награду
Поделует блеклый рот.
Век блаженный, возвращайся!
Царство стариков, кончайся!»

Старики и юноши смеялись. Девушки покраснели и улыбались, глядя в сторону. Среди тысячи шуток принесли второй венок и и надели его на голову Клингсору. Его попросили спеть менее легкомысленную песню.—Конечно,—сказал Клингсор.—я ни за что не решусь дерзостно говорить о ваших тайнах. Скажите сами, какую песню вы хотите. — Только не про любовь, — воскликнули девушки.—Лучше всего застольную песню, если можно.

Клингсор начал:

«Где блещет зелень по вершинам,
Там чудотворный бог рожден.
Его избрало солнце сыном,
Он пламенем его пронзен.

Зачатый радостью и маем
В нежнейших недрах он загих.
Когда плоды мы собираем,
Он, новорожденный, меж них.

И в колыбели заповедной,
В подземном трепетном ядре,
Во сне он видит пир победный
И замки в легком серебре.

Не подойдет никто к затворам,
Где он кипит, и юн и дик,
Под молодым его напором
Оковы разорвутся в миг.

И много стражей сокровенных
Лелеют детище свое,
И всех, кто до дверей священных
Дотронется, пронзит копьё.

Свои сияющие вежды,
Как крылья, он раскрыть готов,
Исполнить пастырей надежды,
И выйти на умильный зов

Из колыбели—в свет и росы.
В хрустальной ткани и в венке;
И символ единенья—розы
Качаются в его руке.

И вокруг него повсюду в сборе
Все, в ком кипит живая кровь.
К нему летят в веселом хоре
И благодарность, и любовь.

И брызжет жизнью, как лучами,
Он в мир оцепенелый наш,
И медленными пьет глотками
Любовь из заповедных чаш.

И чтоб железный век расплавить,
Поэту он вручает власть,
Кто в пьяных песнях будет славить
Его веселье, смех и страсть.

Он право на уста прекрасной
В награду передал певцам.
Так знайте все, что вы не властны
Противиться его устам».

— Прекрасный пророк!—воскликнули девушки. Шванинг имел очень довольный вид. Они стали было возражать, но это им не помогло. Им пришлось протянуть ему прелестные губы. Гейнриху было совестно перед своей серьезной соседкой, а не то он бы удивился, что у певцов такие права. Вероника была в числе пришедших венков. Она радостно вернулась и сказала Гейнриху:— Правда, хорошо быть поэтом?—Гейнрих не решился воспользоваться этим вопросом.

Избыток радости и смущение первой любви боролись в его сердце. Прелестная Вероника стала шутить с другими, и он вытравил, благодаря этому, время для того, чтобы побороть свою чрезмерную радость. Матильда рассказала ему, что играет на гитаре:

— Ах,—сказал Гейнрих,—как бы я хотел поучиться у вас игре на гитаре. Я уже давно питаю это желание.

— Меня учил отец; он играет с неподражаемым совершенством,—ответила она, покраснев.

— А всетаки я полагаю,—возразил Гейнрих, что я скорее научился у вас. Мне так хочется услышать ваше пение.

— Не ждите слишком многого.

— О,—сказал Гейнрих,—чего только я не мог бы ожидать, когда одна речь ваша—уже пение, и вид ваш возвещает небесную музыку.

Матильда ничего не ответила. Отец ее вступил с ним в разговор, и Гейнрих говорил с необычайным воодушевлением. Сидевшие рядом изумлялись разговорчивости юноши и образности его речи. Матильда смотрела на него с тихим вниманием. Она, видимо, наслаждалась его речами, еще более красноречивыми, благодаря выразительности его лица. Глаза его сверкали необычным блеском. Он часто оглядывался на Матильду, которая изумлялась выражению его лица. В пылу разговора он незаметно схватил ее руку, и она невольно подтверждала многое из его слов легким пожатием. Клингсор искусно поддерживал в нем его увлечение и постепенно вызвал всю его душу на уста. Наконец, все встали и поднялся общий гул. Гейнрих остался подле Матильды. Они стояли в стороне никем не замеченные. Он держал ее руку и нежно поцеловал ее. Она не отняла руки и взглянула на него с неопишуемой ласковостью. Он не мог сдержать себя, наклонился к ней и поцеловал ее в губы. Она, захваченная врасплох, невольно ответила горячим поцелуем.—Милая Матильда!—Милый Гейнрих!— Вот все, что они были в состоянии сказать друг другу. Она пожала его руку и пошла к другим. Гейнрих чувствовал себя точно на небе. К нему подошла мать, и он излил на нее всю свою нежность. Она сказала:—Правда, хорошо, что мы поехали в Аугсбург? Тебе, ведь, здесь, кажется, нравится?—Милая мать,—сказал Гейнрих, — таким я все же не представлял себе Аугсбург. Тут дивно хорошо.

Остальная часть вечера прошла среди нескончаемого веселья. Старики играли, болтали и смотрели на танцующих. Музыка вздымалась морем радости и поднимала упоенную молодежь.

Гейнрих ощущал радостные пророчества и первой радости, и первой любви. Матильда тоже охотно отдавалась власти обаятельных волн и скрывала свою нежную доверчивость, свою распускающуюся любовь к юноше лишь под прозрачным покрывалом. Старый Шванинг заметил их близящееся согласие и дразнил их обоих.

Клингсору Гейнрих понравился, и его радовала нежность юноши к Матильде. Другие юноши и девушки вскоре заметили, что с ними, стали дразнить серьезную Матильду и молодого тюрингнца

и открыто радовались, что не придется более опасаться Матильды в их собственных сердечных делах.

Была уже глубокая ночь, когда гости стали расходиться.

— Вот первое и единственное празднество в моей жизни,—говорил себе Гейнрих, когда остался один, и мать его, утомленная, легла спать. — У меня такое же чувство в душе, как при виде голубого цветка во сне. Что за странная связь между Матильдой и этим цветком? То лицо, которое склонялось ко мне из чашечки цветка, было небесное лицо Матильды, и теперь я вспоминаю, что видел ее лицо и в той книге. Но почему там оно не трогало моего сердца? О, она воплощенный дух песни, достойная дочь своего отца. Она претворит мою жизнь в музыку, сделается моей душой, хранительницей моего священного пламени. Какую вековечную верность чувствую я в себе! Я рожден лишь для того, чтобы поклоняться ей, вечно ей служить, чтобы думать о ней и ощущать ее. Нужна целая нераздельная жизнь для созерцания и поклонения ей. И неужели я тот счастливец, чья душа дерзает быть отзвуком ее души? Не случайно я встретил ее в конце моего путешествия и не случайно блаженное празднество отметило величайшее мгновение моей жизни. Иначе и быть не могло: ее близость превращает все в праздник.

Он подошел к окну. Хор звезд стоял на темном небе и светлая полоса на востоке возвещала день.

Восхищенный Гейнрих воскликнул:—Вас, вечные звезды, тихие путники, вас призываю в свидетели моей клятвы. Я буду жить для Матильды, и вечная верность сплотит мое сердце с ее сердцем. И для меня наступает утро вечного дня. Ночь миновала. Я возжигаю себя самого, как неугасимую жертву восходящему солнцу.

Гейнрих был взволнован и заснул лишь поздно под утро. Мысли и чувства его перелились в странные сны. Глубокий синий поток сверкал среди зеленой равнины. На гладкой поверхности плыла лодка. Матильда сидела и управляла рулем. Она была украшена венками, пела простую песню и оглядывалась на него с глубокою грустью. Грудь у него сжалась. Он сам не знал почему. Небо было ясно. поток спокоен. Ее небесное лицо отражалось в волнах. Бдур лодка стала поворачиваться. Он испуганно окликнул ее. Она

улыбнулась и полсжила руль в лодку, которая все время кружилась. Бесконечный страх овладел им. Он бросился в поток, но не мог плыть; вода понесла его. Она кивала ему головой, точно хотела что-то ему сказать. В лодку уже проникла вода; но она все еще улыбалась с невыразимой нежностью и весело глядела в водоворот. Но вдруг ее потянуло вниз. Легкий ветерок пронесся по воде, которая текла попрежнему спокойной сверкающей струей. Безумный ужас лишил его сознания. Сердце его перестало биться. Он пришел в себя лишь тогда, когда почувствовал себя на твердой почве. Он, видимо, уплыл далеко. Место, где он очутился, было совершенно неведомое. Он не понимал, что с ним случилось. Ничего не соображая, он пошел вглубь новой местности. Он чувствовал себя безумно утомленным. Маленький ручеек, выступая из холма, звенел как чистый колокольчик. Он набрал несколько капель в руку и омочил свои засохшие губы. Страшное событие казалось ему далеким страшным сном. Он шел все дальше и дальше, цветы и деревья заговаривали с ним. Ему становилось радостно на душе. Тогда он снова услышал ту простую песенку. Он побежал навстречу звукам. Вдруг кто-то удержал его за платье.

— Милый Гейнрих,—воскликнул знакомый голос. Он обернулся, и Матильда заключила его в свои объятия. — Почему ты убежал от меня, любимый друг?—воскликнула она тяжело дыша.—Я едва могла нагнать тебя.

Гейнрих заплакал. Он прижал ее к себе.

— Где поток?—воскликнул он со слезами. — Разве ты не видишь его синие волны над нами?—Он поднял глаза: голубой поток медленно плыл над их головами.

— Где мы, милая Матильда?

— У наших родителей.

— Останемся ли мы вместе?

— Вечно,—сказала она, прижимая свои губы к его губам и так обняла его, что уже не могла оторваться. Она шепнула ему в уста волшебное тайное слово, отозвавшееся во всем его существовании. Он хотел повторить его, как вдруг раздался голос его бабушки, и он проснулся. Он готов был бы отдать свою жизнь за то, чтобы еще раз услышать это слово.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Клингсор стоял у его постели и ласково пожелал ему доброго утра. Он сразу проснулся и бросился на шею Клингсору.

— Это относится не к вам, — сказал Шванинг.

Гейнрих улыбнулся и прижался к щеке матери, чтобы не видно было, как он покраснел.

— Хотите позавтракать со мной за городом, на красивом пригорке? — спросил Клингсор. — Дивное утро освежит вас. Одевайтесь. Матильда уже ждет.

Гейнрих радостно поблагодарил за приглашение, которое было ему очень приятно. Он в одну минуту оделся и с глубоким чувством поцеловал руку Клингсору.

Они пошли к Матильде, которая была очаровательна в своем простом утреннем платье и ласково приветствовала его. Она уже уложила завтрак в корзиночку, которая висела у нее на руке, и непринужденно протянула Гейнриху другую руку. Клингсор последовал за ними, и так они прошли через город, уже оживившийся, и направились к маленькому холму у реки; там, под несколькими высокими деревьями, открывался широкий вид вдаль.

— Я уже часто, — воскликнул Гейнрих, — наслаждался видом пестрой природы и мирной близостью ее многообразных владений; но такой творческой и полной радости, как сегодня, я никогда еще не переживал. Та даль близка моей душе, а пышный пейзаж кажется мне моим собственным внутренним видением. Как изменчива природа, хотя поверхность земли кажется неизменной. До чего она становится другой, когда подле нас ангел или более сильный дух, чем тогда, когда какой-нибудь несчастный жалуется на свое горе, или поселянин рассказывает, как неблагоприятна для него погода и как ему нужны для посева хмурые, дождливые

дни. Вам, дорогой учитель. я обязан этим наслаждением; именно наслаждением. Никакое другое слово не могло бы вернее определить состояние моего сердца. Радость, удовольствие и восторг только части наслаждения, которое объединяет их с высшей жизнью. Он прижал руку Матильды к сердцу и проник пламенным взглядом в ее кроткие открытые глаза.

— Природа,—продолжал Клингсор,—то же для нашей души, что тело для света. Тело удерживает свет, преломляет его в своеобразные краски; оно зажигает вне или внутри себя свет, который, если он равен темноте тела, делает это тело ясным и прозрачным; если же он превосходит темноту тела, то выходит из него, чтобы осветить другие тела. Но даже самое темное тело можно сделать светлым и блестящим через посредство воды, огня и воздуха.

— Я вас понимаю, милый учитель. Люди—кристаллы для нашей души. Они—прозрачная природа. Милая Матильда, вас я хотел бы назвать дивным, чистым сапфиром. Вы ясны и прозрачны, как небо, вы светитесь мягким светом. Но, скажите, милый учитель: мне кажется, что именно тогда, когда янее всего сближаешься с природой, менее всего можешь и хочешь о ней говорить.

— Это зависит от взгляда, — возразил Клингсор. — Природа иное для нашей радости и нашей души, чем то, что она для нашего разума, для руководящей власти наших мировых сил. Нужно прежде всего не забывать одно из-за другого. Многие знают только одну сторону и пренебрегают другой. Но можно соединить их, и это поведет к благу. Жаль, что лишь немногие думают о том, чтобы свободно и умело разобратся в своем внутреннем мире и умелым разделением обеспечить себе самое целесообразное и естественное пользование своими душевными силами. Обыкновенно одно мешает другому, и таким образом постепенно возникает беспомощная вялость. Когда такие люди хотят выступить во всеоружии всех сил, то начинается страшное смятение и спор, и все неумело валится одно на другое. Я настойчиво предлагаю вам усердно и старательно развивать ваш разум, ваше естественное влечение, знать как все происходит и по каким законам связывается одно с другим. Нет ничего более необходимого поэту, чем

понимание сущности всякого дела, ознакомление со средствами достижения каждой цели и умение выбирать самое подходящее по времени и обстоятельствам. Воодушевление без разума бесполезно и опасно, и поэт не в силах будет никого поражать, если сам будет всем поражаться.

— Но разве не необходима поэту внутренняя вера в способность человека управлять судьбой?

— Конечно, необходима, потому что он не может иначе представить себе судьбу, если достаточно об этом поразмыслить; но как далека эта радостная уверенность от тревожной неуверенности, от слепого страха современных людей. Точно так же умеренная, живительная теплота поэтической души прямо противоположна дикому жару болезненного сердца. Такой пыл ничтожен, оглушителен и мимолетен; теплота же поэта ясно разграничивает все образы, способствует развитию самых разнообразных обстоятельств и становится вечной в самой себе. Молодой поэт должен быть как можно более умерен и разумен. Для истинно-звучного красноречия нужна широкая, внимательная и спокойная душа. Когда дикий поток бушует в груди, и внимание переходит в дрожащее отсутствие мысли, то получается спутанная болтовня. Я еще раз повторяю, что искренняя душа подобна свету, столь же спокойна и чутка, столь же гибка и проникновенна, столь же властна и столь же незаметна, могущественна, как дивная стихия, которая распределяется равномерно на все предметы и проявляет их в дивном разнообразии. Поэт—чистая сталь, столь же чувствительная, как хрупкая стеклянная нить, и столь же твердая, как неподатливый булыжник.

— Я уже часто чувствовал,—сказал Гейнрих,— что в самые глубокие минуты менее оживлен, чем в другое время, когда мог спокойно ходить и охотно предавался всем занятием. Тогда меня пронизывало острое духовное сознание, и я мог, как угодно, пользоваться каждым чувством, переворачивать каждую мысль, как настоящее тело, рассматривая ее со всех сторон. Я с молчаливым интересом стоял в мастерской моего отца и радовался, когда мог в чем-нибудь помочь ему или что-нибудь смастерить. Ловкость имеет особенную живительную прелесть, и сознание ее доставляет

более длительное и несомненное наслаждение, чем бьющее через край чувство непостижимого, чрезмерного восторга.

— Не думайте.—сказал Клингсор,—что я порицаю это чувство: но оно должно явиться само собой, и его не должно искать. Редкость его появлений благотворна; появляясь чаще, оно утомляет и ослабляет. Нужно как можно скорее вырваться из сладкого одурения, которое остается после него, и вернуться к правильному и напряженному труду. Это тоже, что с милыми утренними снами; из их усыпительного вихря вырываетесь с усилием, но вырваться необходимо, чтобы не впасть в утомительную вялость и потом не влечься весь день в болезненное изнеможение.

— Поэзия требует,—продолжал Клингсор,—чтобы к ней относились, как к строгому искусству. Превращаясь в одно только наслаждение, она перестает быть поэзией. Поэт не должен проводить весь день в праздности, охотясь за образами и чувствами. Это совершенно ложный путь. Чистая, открытая душа, способность мыслить и созерцать, а также умение направлять все свои силы на взаимно оживляющую деятельность и сохранять их напряженность,—вот в чем требование нашего искусства. Если вы захотите довериться мне, то не пройдет ни одного дня, в который вы не приобрели бы несколько полезных сведений. Город богат художниками всякого рода. Есть здесь несколько опытных государственных деятелей, несколько образованных купцов. Можно легко познакомиться со всеми сословиями, со всеми ремеслами, со всеми условиями и требованиями общественной жизни. Я с радостью преподам вам ремесленную сторону нашего искусства, и мы будем читать с вами самые замечательные произведения. Вы можете брать уроки вместе с Матильдой, а она охотно будет учить вас играть на гитаре. Каждое занятие будет подготовкою для других; если вы хорошо распределите часы дня, то разговоры и радости вечеров, проведенных в обществе, и виды прекрасных местностей будут доставлять вам каждый раз на-ново самые светлые наслаждения.

— Какую дивную жизнь вы передо мной открываете, дорогой учитель. Только под вашим руководством я пойму, какая у меня впереди благородная цель. Нет сомнения, что только внимая вашим советам, я могу надеяться достигнуть ее.

Клингсор ласково обнял его. Матильда принесла им завтрак, и Гейнрих нежным голосом спросил ее, разрешает ли она ему учиться вместе с нею, а также согласна ли она принять его в ученики.

— Я вечно буду вашим учеником, — сказал он, в то время, как Клингсор отвернулся от него. Она едва заметно склонилась к нему. Он обнял ее и поцеловал мягкие губы покрасневшей девушки. Она слегка отклонилась от него, но с детской грацией передала ему розу, которую носила у груди. Затем она занялась своей корзинкой. Гейнрих с тихим восхищением посмотрел на нее, поцеловал розу, приколол ее к груди и направился к Клингсору, который глядел по направлению города.

— Откуда вы приехали?—спросил Клингсор.

— Мы спустились с того холма,—ответил Гейнрих.—Там вдали теряется наш путь.

— Вы верно видели красивые местности по дороге?

— Мы почти непрерывно созерцали очаровательные виды природы.

— А ваш родной город тоже красиво расположен?

— Местность наша довольно разнообразна, но она еще дикая, и нам недостает большой реки. Вода—очи природы.

— Рассказ о вашем путешествии,—сказал Клингсор,—доставил мне большое удовольствие вчера вечером. Я вижу, что вас сопровождал дух поэзии. Ваши спутники незаметно сделались голосами его. Вокруг поэта всюду возникает поэзия. Родина поэзии, романтичный восток, приветствовал вас своей сладостной скорбью; война открылась вам во всем своем диком величии, а природа и история встретилась вам в образе рудокопа и пустытника.

— Вы забываете самое лучшее, милый учитель—небесное откровение любви. Только от вас зависит, чтобы любовь стала навеки моей.

— А ты что скажешь на это?—спросил Клингсор, обращаясь к Матильде, которая подошла к нему.—Хочешь быть неразлучной спутницей Гейнриха? Там, где будешь ты, останусь и я.

Матильда смутилась и бросилась в объятия отца. Гейнрих задрожал от бесконечной радости.

— Разве он захочет быть моим вечным спутником, милый отец?

— Спроси его сама,—растроганно сказал Клингсор.

Она с глубокой нежностью взглянула на Гейнриха.

— Моя вечность—твое создание,—воскликнул Гейнрих, и слезы потекли по его нежному лицу. Они обняли друг друга. Клингсор заключил их в свои объятия.

— Дети мои,—воскликнул он,—будьте верны друг другу до самой смерти. Любовь и верность превратят вашу жизнь в вечную поэзию.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Днем Клингсор повел к себе в комнату своего нового сына, в счастья которого приняли живейшее участие его мать и дедушка, видя в Матильде его ангела-хранителя. Он стал показывать юноше свои книги, и они завели разговор о поэзии.

— Не знаю,—сказал Клингсор,—почему считают, что признавать природу поэтом значит творить поэзию. Природа не всегда проявляет свой поэтический дар. В ней, как и в человеке, есть противоположное начало, слепое вожделение, тупое бесстрашие и вялость, ведущие неустанный спор с поэзией. Эта мощная борьба могла бы быть прекрасным сюжетом для поэмы. Некоторые страны и времена, как и большинство людей, повидимому, совершенно во власти этого врага поэзии; в других же, напротив того, поэзия жива и проявляется во всем. Для историка периоды этой борьбы в высшей степени интересны, а изображение их—приятное и благодарное дело. В такие времена и рождаются обыкновенно поэты. Противной стороне неприятнее всего, что она, противопоставляя себя поэзии, сама становится поэтичной, и нередко в пылу обменивается с нею оружием, так что ее ранят ее собственные коварные стрелы; а раны поэзии, причиненные ей собственным оружием, легко заживают и делают ее еще более очаровательной и сильной.

— Вообще, война,—сказал Гейнрих,—как мне кажется, возникает всегда из поэтических побуждений. Люди думают, что должны сражаться ради какого-то жалкого достоинства, и не замечают, что ими управляет романтический дух, стремящийся уничтожить ненужное зло им же самим. Они сражаются во имя поэзии, и оба войска следуют за невидимыми знаменами.

— В войне.—сказал Клингсор,—сказывается движение первобытных сил. Должны возникнуть новые части света, из великого разложения должны вырасти новые поколения. Истинная война— война религиозная; она ведет прямо к гибели, и безумие людей проявляется во всей своей полноте. Многие войны, в особенности те, которые вызваны национальной враждой, относятся к тому же разряду, и это настоящие поэмы. Они создают истинных героев, которые, как самый благородный противобраз поэтов, ничто иное, как мировые силы, непронзвольно проникнутые поэзией. Поэт, который был бы вместе с тем героем, сам по себе небесный посланник, но изобразить его наша поэзия не в силах.

— Что вы хотите этим сказать, милый отец?—спросил Гейнрих.—Может ли что-нибудь быть слишком высоким для поэзии?

— Конечно. Но в сущности не для поэзии, а только для наших земных средств и возможностей. Уже каждый отдельный поэт должен ограничиваться своей областью, в пределах которой ему приходится оставаться, чтобы устоять и не задохнуться; точно так же для всей совокупности человеческих сил есть определенная граница воссоздаваемости; за этими пределами изображенное не может быть достаточно осязательным и превращается в пустое, обманное уродство. В особенности в период учения нужно чрезвычайно беречься всяких излишеств, ибо живая фантазия любит подходить к границам и, возгордившись, стремится охватить чрезмерное и выразить его. Более зрелый опыт учит избегать несоразмерности и предоставляет мудрости отыскивать самое простое и высокое. Поэт постарше не стремится подняться выше, чем нужно для того, чтобы распределить весь свой богатый запас в легко понятном порядке; он сознательно не отказывается от многообразия, которое ему дает достаточно материала и нужные сравнения. Я хочу сказать, что во всяком поэтическом произведении должен съезжать хаос сквозь ровную дымку согласованности. Богатство творческой выдумки делается понятным и привлекательным только при легком изложении, в то время как одна только равномерность имеет неприятную сухость арифметики. Хорошая поэзия та, которая нам близка, и нередко ее любимым содержанием становится нечто самое обыденное. Орудия поэтического творчества ограни-

чен; именно это и делает поэзию искусством. Язык вообще имеет определенные границы. Еще более тесен объем каждого народного наречия. Поэт научается своему языку путем упражнения и размышления. Он точно знает, что может сделать своим языком и не станет тщетно напрягать его выше сил. Лишь редко обращает он все силы языка на один пункт; этим бы он утомил и сам уничтожил драгоценное действие умело примененных и сильных выражений. К странным вывертам приучает язык лишь фокусник, а не поэт. Вообще, поэты должны как можно более учиться у музыкантов и живописцев. В этих отраслях искусства видно, до чего экономно следует обходиться с вспомогательными средствами искусства и как важно во всем умелое распределение. Зато, конечно, музыканты и живописцы должны были бы с благодарностью заимствовать у нас поэтическую независимость и внутренний дух каждого стихотворного произведения и измышления, вообще каждого истинного произведения искусства. Им следовало бы сделаться более поэтичными, а наг более музыкальными и живописными,—конечно, в духе нашего искусства. Не содержание цель искусства, а выполнение. Ты сам увидишь, какие песни тебе лучше всего удаются: наверное, те, содержание которых тебе наиболее ясно и знакомо. Поэтому можно сказать, что поэзия основывается всецело на опыте. Я сам знаю, что в молодые годы я охотнее всего воспевал самое далекое и незнакомое. Что же из этого выходило? Пустая, жалкая шумиха слов, без искры истинной поэзии. Поэтому даже сказка очень трудная задача, и молодой поэт редко в состоянии хорошо выполнить ее.

— Мне бы хотелось, чтобы ты рассказал мне сказку,—сказал Гейнрих.—Те немногие, которые я знаю, несказанно нравятся мне, как бы они ни были незначительны.

— Сегодня вечером я исполню твое желание. Я помню одну сказку, которую написал в еще сравнительно молодые годы. Это ясно в ней сказывается; но, может быть, она будет для тебя тем более поучительной и напомнит тебе многое из того, что я тебе говорил.

— Язык,—сказал Гейнрих,—действительно маленький мир знаков и звуков. Так же, как человек владеет ими, он бы хотел

владеть всем миром и свободно проявлять себя в нем. И именно в этом желании проявить в мире то, что находится вне его, в этом стремлении, которое является основным влечением нашего бытия, и лежит основа поэзии.

— Очень жалко,—сказал Клингсор,—что поэзия имеет обособляющее ее название и что поэты составляют отдельное сословие. В поэзии нет ничего необычайного. Она основное свойство духа человеческого. Разве каждый человек не творит и не мыслит в каждую минуту?—Матильда только что входила в комнату, когда Клингсор еще прибавил:—Возьмем, например, любовь. Ни в чем необходимость поэзии для сущности человеческой жизни так ясно не проявляется, как именно в любви. Любовь безмолвна, и только поэзия может говорить за нее: или же можно сказать, что любовь не что иное, как высшая поэзия природы. Но зачем говорить тебе то, что ты сам знаешь лучше меня.

— Ведь ты отец любви,—сказал Гейнрих, обняв Матильду и оба они поцеловали ему руку.

Клигсор обнял дочь и вышел из комнаты.

— Милая Матильда,—сказал Гейнрих после долгого поцелуя,—мне кажется сном то, что ты моя; но еще более изумляет меня, что ты не была всегда моей.

— Мне кажется,—сказала Матильда,—что я знаю тебя с незапамятных времен.

— Неужели ты действительно меня любишь?

— Я не знаю, что такое любовь, но одно могу тебе сказать: у меня такое чувство, точно я только теперь стала жить, и я так привязана к тебе, что хотела бы отдать за тебя жизнь.

— Дорогая Матильда, только теперь я понимаю, что значит быть бессмертным.

— Милый Гейнрих, как ты бесконечно добр. Какой дивный дух говорит твоими устами! Я бедная, незначительная девушка.

— Как глубоко ты меня пристыдила! Ведь то, что есть во мне, исходит от тебя. Без тебя я был бы ничем. Дух без неба ничто, а ты небо, которое меня держит и сохраняет.

— Каким бы я была блаженным существом, если бы ты был

такой же верный, как мой отец. Мать моя умерла вскоре после моего рождения. Отец мой до сих пор почти каждый день плачет о ней.

— Я этого не заслуживаю, но я хотел бы быть счастливее его.

— Я бы хотела долго жить подле тебя, милый Гейнрих. Я наверное сделаюсь гораздо лучше, благодаря тебе.

— Ах, Матильда! Даже смерть не разлучит нас.

— Нет, Гейнрих; где буду я, будешь и ты.

— Да, где будешь ты, Матильда, буду вечно и я.

— Я не понимаю вечности, но мне кажется, что вечность это то, что я испытываю, когда думаю о тебе.

— Да, Матильда, мы вечны, потому что мы любим друг друга.

— Ты не поверишь, милый, с каким глубоким чувством я сегодня утром, когда мы вернулись домой, опустилась на колени перед образом Небесной Матери и как несказанно молилась ей. Я точно изливалась в слезах. Мне показалось, что она улыбнулась мне. Теперь только я знаю, что такое благодарность.

— О, возлюбленная, небо дало мне тебя для поклонения. Я молюсь тебе. Ты святая, ты возносишь мои желания к Богу; в тебе он является мне, в тебе он показывает мне всю полноту своей любви. Что такое религия, если не беспредельное согласие, не вечное единение любящих сердец? Где сошлись двое, там Он среди них. Я буду вечно дышать тобой; грудь моя никогда не перестанет вдыхать тебя. Ты божественное величие, вечная жизнь в очаровательнейшей оболочке.

— Ах, Гейнрих, ты знаешь судьбу роз. Будешь ли ты целовать поблекшие уста и бледные щеки с прежней нежностью? Не сделаются ли следы старости следами минувшей любви?

— О, если б ты могла взглянуть моими глазами в мою душу! Но ты любишь меня и, значит, веришь мне. Я не понимаю, как можно говорить о бренности красоты. Она неувадаема. То, что меня так неразрывно влечет к тебе, что разбудило во мне вечное стремление к тебе, то не во времени. Если бы ты могла видеть, какой ты мне кажешься, какой дивный образ проникает сквозь

тебя и светится мне отовсюду, ты бы не боялась старости. Твой земной образ лишь тень того очарования. Земные силы стремятся сохранить его, но природа еще не совершенна. Тот образ—вечный прообраз, частица неведомого святого мира.

— Я понимаю тебя, милый Гейнрих; я тоже вижу нечто подобное, когда гляжу на тебя.

— Да, Матильда, высший мир ближе к нам, чем мы обыкновенно думаем. Мы уже здесь живем в нем и видим его тесно переплетенным с земной природой.

— Ты откроешь мне еще много дивного, любимый мой.

— О, Матильда, только от тебя я получил дар пророчества. Все, что у меня есть—твое; твоя любовь поведет меня в святилища жизни, в святую святых духа; ты вдохновишь меня на самые высокие мысли. Как знать, не претворится ли наша любовь в пламенные крылья, которые поднимут нас и понесут на нашу небесную родину, прежде чем смерть достигнет нас. Разве не чудо то, что ты моя, и я держу тебя в моих объятиях, что ты меня любишь и хочешь быть навеки моей?

— И мне теперь все кажется возможным, и я чувствую отчетливо, как во мне горит тихий огонь; как знать, может быть, он преобразит нас и разобьет земные оковы. Скажи мне только, Гейнрих, питаешь ли ты ко мне такое же бесконечное доверие, как я к тебе? Я никогда еще не испытывала ничего подобного, не питала такого чувства даже к моему отцу, хотя я его бесконечно люблю.

— Милая Матильда, я истинно страдаю, что не могу сказать тебе сразу все, что не могу сразу отдать тебе моего сердца. Я в первый раз в жизни говорю с полной откровенностью. Никакой мысли, никакого чувства я от тебя больше не могу утаить: ты должна все знать. Все мое существо должно слиться с твоим. Только самая безграничная преданность может удовлетворить моей любви; ведь в преданности любовь и состоит. Она таинственная гармония нашей самой таинственной сущности.

— Гейнрих, так двое людей никогда еще не любили друг друга.

— Я в этом уверен. Ведь прежде еще не было никогда Матильды.

— Не было и Гейнриха.

— Ах, поклянись еще раз, что ты моя навеки! Любовь—бесконечное повторение.

— Да, Гейнрих, я клянусь быть вечно твоей, клянусь невидимым присутствием моей матери.

— Я клянусь быть вечно твоим, Матильда, клянусь тем, что любовь—знак того, что с нами Господь.

Объятия, бесчисленные поцелуи запечатлели вечный союз блаженной любящей четы.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Вечером пришли гости; дедушка выпил за здоровье жениха и невесты и обещал вскоре устроить пышный свадебный пир.

— Зачем медлить? — сказал старик. — Ранняя свадьба — долгая любовь. Я знаю по опыту, что ранние браки самые счастливые. В позднейшие годы супружество не бывает столь благоговейным, как в молодости. Вместе проведенная молодость создает неразрывную связь. Воспоминание самая твердая основа любви.

После обеда пришло еще несколько человек. Гейнрих попросил своего нового отца выполнить обещание.

Клингсор сказал гостям: — Я обещал Гейнриху рассказать сказку; если вы согласны, то, так и быть, расскажу.

— Это Гейнрих умно придумал, — сказал Шванинг. — Вы уже давно ничего не рассказывали.

Все сели вокруг камина, в котором пылал огонь. Гейнрих сел рядом с Матильдой и обнял ее. Клингсор начал:

— Долгая ночь только что наступила. Старый герой ударил о щит, и звук гулко раздался по пустынным улицам города. Он трижды повторил свой сигнал. Тогда высокие цветные окна дворца озарились изнутри и фигуры на них зашевелились. Они двигались все быстрее, по мере того, как усиливался красноватый свет, который начал озарять улицы. Постепенно стали освещаться мощные колонны и стены; наконец, все они засверкали чистой молочной голубизной, переливаясь нежнейшими красками. Все вокруг осветилось. Отблеск фигур, мельканье копий, мечей, щитов и шлемов, которые отовсюду наклонялись к появившимся с разных сторон венцам, и, наконец, когда они исчезли, уступая место простому зеленому венку, окружили его широким кругом: все это отражалось в недвижимом море, окружавшем горы, на которых высился

город; и даже дальняя высокая цепь гор, опоясывавшая море, покрылась до середины мягким отсветом. Нельзя было ничего ясно различить; но слышался странный гуд, как бы из огромной, далекой мастерской. Город же казался на этом фоне светлым и ясным. Его гладкие прозрачные стены отражали нежные лучи и обнаружилась удивительная гармония, благородный стиль всех зданий, их искусное размещение. Перед всеми окнами стояли красивые, глиняные сосуды с множеством дивно сверкавших ледяных и снежных цветов.

Всего прекраснее был сад на большой площади перед дворцом. В саду были металлические деревья и хрустальные растения, и весь он был усеян пестрыми цветами и плодами из драгоценных камней. Разнообразие и грация фигур, яркость света и красок являли очаровательное зрелище, величие которого довершалось высоким оледеневшим фонтаном посреди сада. Старый герой медленно прошел мимо ворот. Чей-то голос окликнул его из дворца. Он прислонился к воротам, которые открылись с мягким шумом, и вошел в залу, прикрывая глаза щитом.

— Ты еще ничего не видишь? — спросила прекрасная дочь Аретура жалобным голосом. Она лежала на шелковых подушках на троне, искусно сооруженном из большого серного кристалла, и несколько девушек старательно растирали ее нежные члены, точно выточенные из молока, слившегося с багрянцем. Во все стороны из-под рук девушек лился очаровательный свет, так волшебным озарявший дворец. Благоуханное дуновение ветра пронеслось по зале. Герой молчал.

— Дай мне дотронуться до твоего щита, — кротко сказала она.

Он приблизился к трону и вступил на пышный ковер. Она схватила его руку, нежно прижала ее к своей небесной груди и коснулась его щита. Доспехи его зазвенели, и проникновенная сила оживила его тело. Глаза его сверкнули, и сердце громко застучало о панцырь. Прекрасная Фрея повеселела, и свет, исходивший из нее, сделался более ягучим.

— Идет король, — крикнула великолепная птица, сидевшая в глубине, за тронном.

Служанки возложили голубое покрывало на принцессу, которое

закрыло ее выше груди. Герой опустил щит и взглянул вверх на купол, к которому вели две широкие лестницы по обе стороны залы. Тихая музыка предшествовала королю, который вскоре появился в куполе с многочисленной свитой и спустился оттуда вниз.

Прекрасная птица расправила свои сверкающие крылья, нежно взмахнула ими и запела, точно тысячью голосов, навстречу королю:

«Нас чужестранец милый не обманет,
Наступит вечность, идохнет тепло.
От сновидений королева встанет,
Когда морей расплавится стекло.
Глухая ночь земли не затуманит.
К нам царство Басни прежнее пришло—
И вспыхнет мир на лоне Фрей страстной,
И каждый вздох отыщет вздох согласный».

Король нежно обнял свою дочь. Духи созвездий окружили трон, и герой занял свое место. Бесчисленное количество звезд наполнило залу милovidными группами. Служанки принесли стол и ящик, в котором лежало множество листков; на них изображены были святые, сокровенные знаки, составленные из созвездий. Король благоговейно поцеловал листки, заботливо смешал их и передал несколько листков дочери. Остальные он оставил себе. Принцесса вынула их по порядку и положила на стол; потом король пристально осмотрел свои листки и, осмотрительно выбирая, стал прибавлять к лежавшим на столе по одному листку. Иногда он точно вынужден был выбирать тот или другой листок. Часто видно было, как он радуется, когда ему удавалось верно выбранным листком создать красивую гармонию знаков и фигур. Как только началась игра, все окружающие стали обнаруживать самый живой интерес и делать странные движения, такие, точно у каждого в руках было невидимое орудие, которым он усердно работал. В тоже время в воздухе раздавалась нежная, трогательная музыка, которая как бы исходила от своеобразно сплетавшихся в зале звезд, а также от других странных движений. Звезды

качались, то медленно, то быстро, вечно меняющихся очертаниях и воспроизводили в такт музыке фигуры листьев. Музыка беспрестанно менялась, как картинки на столе, и хотя нередко переходы были очень странные и резкие, все же вся музыка объединялась одной простой темой. Звезды с невероятной легкостью летали вслед картинкам. Они то все составляли большую группу, то распадались на маленькие кучки, а то длинный ряд рассыпался, как луч, на бесконечные искры, или же среди разрастающихся маленьких кругов и узоров появлялась снова большая изумительная фигура. Пестрые фигуры в окнах продолжали спокойно стоять. Птица неустанно шевелила на разные лады своими драгоценными перьями. Старый герой тоже все время делал свое невидимое дело, как вдруг король радостно воскликнул:—Все уладится. Железо, брось свой меч в пространство, чтобы люди знали, где находится мир. — Герой сорвал меч, которым был опоясан, повернул его острием к небу, потом схватил и бросил в открытое окно, туда, где был город и ледяное море. Меч пролетел по воздуху, точно комета, со светлым звоном разбился о горную цепь и рассыпался искрами.

В это время прекрасный юноша Эрос лежал в колыбели и мирно спал, между тем, как его кормилица Гинистана качала его колыбель и кормила грудью его молочную сестру Басню. Свой пестрый платочек она накинула на колыбельку для того, чтобы яркая лампа писца не мешала ребенку своим светом. Писец продолжал свое дело и только иногда ворчливо оборачивался на детей и хмуро смотрел на кормилицу, которая добродушно улыбалась ему и молчала.

Отец все время входил и выходил из комнаты, каждый раз глядел на детей и ласково кланялся Гинистане. Он непрерывно что-то говорил писцу. Тот внимательно выслушивал, записывал и потом передавал листки благородной, богоподобной женщине, прислонившейся к алтарю: на алтаре стояла темная чаша с прозрачной водой, и женщина глядела в чашу с ясной улыбкой. Она погружала туда листки, и когда, вынимая их, замечала, что на них остались письмена, сделавшиеся блестящими, то отдавала листок писцу. Он вшивал их в большую книгу и видимо досадовал на

то, что труд его пропал даром и что все стиралось. Женщина обращалась время от времени к Гинистане и детям, обмакивала палец в чашу и брызгала на них водой; как только капли воды касались кормилицы, ребенка или колыбели, они превращались в синий пар, который, являя тысячи странных картин, носился вокруг них и видоизменялся. Когда пар этот случайно касался писца, то появлялось множество чисел и геометрических фигур, которые он старательно нанизывал на нитку и вешал себе, в виде украшения, на тощую шею. Мать ребенка, олицетворенная прелесть и очарование, часто входила в комнату. Она казалась непрерывно занятой и, выходя, уносила с собой каждый раз какой-нибудь предмет домашнего обихода; если это замечал подозрительный писец, зорко следивший за нею, то он начинал длинное увещание, на которое никто не обращал внимание. Все, повидимому, привыкли к его ненужным протестам. Мать стала кормить грудью маленькую Басню; но вскоре ее отозвали, и тогда Гинистана взяла Басню обратно. Ребенок видимо предпочитал брать грудь у нее. Вдруг отец привес тонкий железный прутик, который он нашел во дворе. Писец осмотрел его, проворно повертел и вскоре увидел, что прутик, если его привесить за середину на нитке, сам собой обращается к северу. Гинистана тоже взяла в руки прутик, согнула его, сдавила, подула на него и вскоре придала ему вид змеи, которая внезапно укусила себя за хвост. Писцу вскоре надоело заниматься разглядыванием прутика. Он все точно записал, очень пространно рассуждая о возможной пользе находки. Но к великой его досаде, все его писание не выдержало испытания и бумага вышла белой из чаши. Кормилица продолжала вертеть прутик. Вдруг она коснулась им колыбели, и тогда мальчик стал просыпаться, откинул одеяло, защитил себя одной рукой от солнца, а другой потянулся к змейке. Схватив ее, он вскочил с такой силой, что Гинистана испугалась, а писец чуть не упал со стула от ужаса. Выпрыгнув из колыбели, мальчик стал посреди комнаты, покрытый только своими золотыми волосами, созерцая с невыразимой радостью сокровище, которое в его руках вытягивалось к северу и, видимо, сильно его волновало. Он выросстал на глазах у всех.

— София, — сказал он трогательным голосом женщине, — дай мне выпить из чаши. Она беспрекословно протянула ему чашу; он пил, не отрываясь, при чем чаша оставалась полной. Наконец, он ее вернул Софии и нежно поцеловал благородную женщину. Он поцеловал также Гинистану и попросил у нее ее пестрый платок, которым перевязал чресла. Маленькую Басню он взял на руки. Он ей, видимо, очень нравился, и она начала болтать. Гинистана суежилась вокруг него. У нее был очаровательно-легкомысленный вид, и она горячо прижимала его к себе, точно невеста. Что-то ему нащепывая, она увлекала его к дверям, но София строго указала на змею; тогда вошла мать, и он быстро кинулся к ней, приветствуя ее горячими слезами. Писец ушел с мрачным лицом. Вошел отец и, увидав нежные объятия матери с сыном, подошел за ее спиной к очаровательной Гинистане и поцеловал ее. София поднялась по лестнице. Маленькая Басня взяла перо писца и стала писать. Мать и сын углубились в тихий разговор, а отец ушел с Гинистаной в опочивальню, чтобы отдохнуть в ее объятиях от дневных трудов. Через несколько времени вернулась София. Вошел писец. Отец вышел из опочивальни и отправился по своим делам. Гинистана вернулась с пылающими щеками. Писец прогнал с руганью маленькую Басню со своего места и не скоро смог привести в порядок свои вещи. Он передал Софии листки, исписанные Басней, чтобы получить их назад чистыми, но вскоре пришел в ярость, когда София вынула из чаши написанное сверкающим и нетронутым и положила перед ним. Басня прижалась к матери, которая покормила ее грудью и убрала комнату, открыла окно, впустила свежий воздух и принялась за приготовления к пышной трапезе. Из окна открывался очаровательный вид; ясное небо протянулось над землей. На дворе отец усердно работал. Когда он уставал, он поднимал голову к окну, где стояла Гинистана, бросая ему сверху разные лакомства. Мать и сын вышли, чтобы распорядиться и выполнять принятое решение. Писец быстро писал и строил гримасы каждый раз, когда ему приходилось спросить о чем-нибудь Гинистану; у нее была хорошая память, и она помнила все, что произошло. Эрос явился вскоре в красивых доспехах, перевязав через плечо шарфом

пестрый платок. Он спросил совета у Софии, когда и как ему отправиться в путь. Писец вмешался непрошенно в разговор и предложил составить тотчас же точный маршрут: но на его предложение никто не обратил внимания.

— Ты можешь ехать сейчас; Гинистана поедет с тобой,— сказала София. — Она знает все дороги, и ее всюду хорошо знают. Она примет вид твоей матери, чтобы не вводить тебя в искушение. Если ты найдешь короля, вспомни обо мне; я тогда явлюсь тебе на помощь.

Гинистана переменялась обликом с матерью, что, видимо, доставило удовольствие отцу. Писец был рад их уходу, тем более, что Гинистана подарила ему на прощание свою записную книгу, в которой была обстоятельно изложена семейная хроника. Теперь помехой ему была только маленькая Басня. Ничего бы он так не желал для своего спокойствия и довольства, как того, чтобы и она уехала. София благословила опустившихся на колени путников и дала им сосуд, полный воды из чаши; мать была очень опечалена. Маленькой Басне тоже хотелось отправиться с ними; отец же был слишком занят вне дома, чтобы очень горевать. Наступила ночь, когда они уехали, и месяц высоко стоял на небе.

— Милый Эрос,— сказала Гинистана, — поспешим к отцу. Он меня долго не видел и с такой тоскою ищет меня всюду на земле. Видишь, какое у него бледное, изможденное лицо? По твоему свидетельству он узнает меня и под чужим обликом.

Любовь скользила в темноте,
Лишь месяцу видна.
Теней в чудесной красоте
Раскрылась глубина.

И золотом краев горя,
Ее одела мгла.
Их за поля и за моря
Фантазия вела.

Высоко подымалась грудь,
Взволнованно дыша,

Предвидела блаженный путь
Безумная душа.

О, Страсть, не плачь, поймешь ли ты,
Что вновь любовь близка?
Зачем мрачат твои черты
Унынье и тоска.

А змейка тонкая ведет,
Лишь северу верна.
И оба мчатся без забот,
Куда манит она.

Любовь летит в пустой простор
Сквозь облака и ночь.
И входит к месяцу во двор;
За нею следом дочь.

На троне ясном он сидит
Один в тоске своей.
Ах, голос дочери звенит!
Он пал в объятия к ней.

Эрос стоял растроганный, глядя на их нежные объятия. Наконец, потрясенный старик сделал усилие над собой и приветствовал гостя. Он схватил свой огромный рог и мощно затрубил в него. Громкий клич пронесся по древнему замку. Остроконечные башни с их сверкающими вышками и глубокими черными крышами зашатались. Замок остановился, ибо он попал на гору за морем. Со всех сторон сбежались слуги; их странные облики и одежды бесконечно тешили Гинистану и не пугали храброго Эроса. Гинистана приветствовала своих старых знакомых, и все предстали перед нею с новой силой и во всем своем природном великолении. Бурный дух прилива следовал за кротким отливом. Древние ураганы привикли к трепетной груди пламенных, страстных землетрясений. Нежные ливни оглядывались на пеструю радугу,

которая побледнела вдали от влекущего ее солнца. Суровый гром негодовал на безумие молний из-за бесчисленных облаков, которые стояли, чаруя тысячами прелестей, и манили пламенных юношей. Две милovidные сестры, утренняя и вечерняя заря, радостно встретили прибывших. Они проливали сладкие слезы, обнимая их. Вид этого удивительного двора был неопиcуем. Старый король не мог наглядеться на дочь. Она чувствовала себя безмерно счастливой в отцовском замке и неустанно оглядывала вновь и вновь знакомые ей диковины. Радость ее была беспредельна, когда король дал ей ключ от своей сокровищницы и разрешил ей устроить там представление для Эроса, которое бы заняло его до того, как дадут знак к отбытию. Сокровищница короля была садом неопиcуемого разнообразия и богатства. Между огромными полосатыми облаками расположены были бесчисленные воздушные замки поразительного строения, одни очаровательнее других. Там бродили стада овец с серебристо белой, золотистой и розовой шерстью; самые разнообразные животные ожиряли чащу своим присутствием. Самые изумительные картины представлялись взорам, и внимание было непрерывно занято праздничными шествиями, странными колясками, появлявшимися со всех сторон. На грядках росли пестрые цветы. Здания были переполнены всевозможным оружием, прекраснейшими коврами, обоями, занавесами, кубками, необозримыми рядами утвари и оружия. На возвышении они увидели романтическую местность, усеянную городами и замками, храмами и кладбищами; она соединяла прелесть населенных равнин с страшным обаянием пустыни и скалистых стран. Прекраснейшие краски являли гармоничные сочетания. Вершины гор сверкали, как фейерверк в своих ледяных и снежных покровах. Равнина улыбалась нежной зеленью. Даль наряжалась всеми оттенками синевы, и из морского мрака выступали бесчисленные пестрые флаги больших флотов. Тут, в глубине, виделось кораблекрушение, а впереди веселый пир поселян; там грозно-прекрасное извержение вулкана, гибельное землетрясение, а на переднем плане нежные ласки любящей четы под тенью деревьев. На крутом спуске шла кровопролитная битва, а под нею представлялся взорам театр с забавнейшими масками. С другой стороны, на переднем плане, виделось

молодое мертвое тело на катафалке, у которого стоял безутешный возлюбленный, рядом плачущие родители. А в глубине сидела милостивая мать с ребенком у груди, ангелы расположились у ног ее и выглядывали из-за ветвей над ее головой. Сцены непрерывно, менялись и, наконец, слились в большое таинственное представление. Небо и земля пришли в полное смятение. Все ужасы вырвались наружу. Мощный голос призывал к оружию. Страшное войско скелетов с черными знаменами вихрем спустилось с темных гор и напало на жизнь, которая со своими юными полчищами предавалась веселым празднествам в светлой долине и не ожидала нападения. Поднялся страшный шум, земля задрожала, буря ревела и ночь осветилась чудовищными метеорами. Полчище привидений стало разрывать с неслыханной жестокостью нежные члены живых. Воздвигся костер, и пламя стало, среди ужасающего воя, пожирать детей жизни. Вдруг из темной груди пепла разлился во все стороны молочно синий поток. Призраки хотели броситься в бегство, но поток рос на глазах и, наконец, поглотил отвратительные создания. Вскоре все ужасы были уничтожены. Небо и земля слились в сладкую музыку. Дивной красоты цветок плыл, сверкая, по мягким волнам. Сияющая дуга перекинулась через поток, а на дуге сидели на спусках по обе стороны божественные фигуры на пышных престолах. София восседала на самом верху, с чашей в руках, рядом с величественно прекрасным человеком; у него был венок из дубовых листьев на кудрях, а в правой руке держал он вместо скипетра пальму мира. Лилейный листок склонился к чашечке плавающего цветка; маленькая Басня сидела на нем и пела под звуки арфы нежные песни. В чашечке лежал сам Эрос, склоненный над прекрасной спавшей девушкой, которая крепко охватила его руками. Маленький бутон обвил их обоих так, что они, начиная с бедер, как бы превратились оба в один цветок.

Эрос поблагодарил Гинистану, выражая безграничный восторг. Он нежно обнял ее, и она охотно отвечала на его ласки. Утомленный тяжким путем и всем виденным им, он почувствовал желание удобно расположиться и отдохнуть. Гинистана, испытывая сильное влечение к прекрасному юноше, конечно, не напомнила

ему о питье, которое София дала ему с собой в путь. Она повела его в отдаленную купальню, сняла с него вооружение, а сама надела ночную одежду, в которой имела странно-обольстительный вид. Эрос погрузился в опасные волны и вышел из них опьяненный. Гинистана осушила его и стала растирать его сильное юношеское тело. Он вспомнил с пламенной тоской свою возлюбленную и обнял в сладком забвении очаровательную Гинистану. Он беззаботно отдался бурной нежности и, наконец, заснул после сладостного наслаждения на прекрасной груди своей спутницы.

Тем временем дома произошла печальная перемена. Писец запутал слуг в опасный заговор. Его злобная душа уже давно искала случая завладеть управлением дома и сбросить свое иго. Этот случай теперь представился. Сначала его приверженцы завладели матерью, которую они заковали в железные цепи. Отца тоже посадили на хлеб и на воду. Маленькая Басня услышала шум в комнате. Она залезла за алтарь и, увидав, что позади его есть потайная дверь, быстро открыла ее. За дверью оказалась лестница. Басня закрыла дверь за собой и спустилась в темноте вниз по лестнице. Писец стремительно бросился к алтарю, чтобы отомстить маленькой Басне и взять в плен Софию. Но обе они исчезли. Чаши тоже не оказалось. В своем гневе он разбил алтарь на тысячу кусков, но всетаки не смог найти потайную дверь.

Маленькая Басня долго спускалась вниз. Наконец, она вышла на площадь, окруженную великолепной колоннадой и залпругую большими воротами. Все там было темное. Воздух был точно огромная тень; в небе стояло черное сверкающее тело. Все можно было ясно различить, потому что каждая фигура была другого черного оттенка и отбрасывала светлое сияние; свет и тень как будто переменялись здесь ролями. Басня обрадовалась, что очутилась в новом мире. Она оглядывалась с детским любопытством. Наконец, она подошла к воротам, у которых лежал прекрасный сфинкс на тяжелом пьедестале.

— Что тебе здесь надобно?—спросил сфинкс.

— Я ищущу то, что мне принадлежит,—ответила Басня.

— Откуда ты пришла?

- Из древности.
— Ты еще ребенок.
— Я всегда буду ребенком.
— Кто защитит тебя?
— Я сама себе защита. Где сестры?—спросила Басня.
— Везде и нигде,—ответил сфинкс.
— Ты знаешь меня?
— Еще не знаю.
— Где любовь?
— В воображении.
— А София?

Сфинкс пробормотал что-то невнятное и зашелестел крыльями.

— София и Любовь!—торжествующе воскликнула Басня и вошла в ворота. Она вступила в огромную пещеру и радостно подошла к старым сестрам, которые при тусклом мраке лампы, горевшей черным светом, свершали свое странное дело. Они не подавали виду, что узнают маленькую гостью, которая приветливо суежилась вокруг них.

Наконец, одна сердито крикнула, с злобной гримасой. — Что тебе здесь надо, лентяйка? Кто тебя впустил? Твоя ребяческая возня колеблет тихое пламя. Масло горит без всякой пользы. Лучше бы ты села и взялась за какое-нибудь дело.

— Милая тетенька,—сказала Басня,—я совсем не люблю бездельничать. Какая у вас смешная привратница. Ей хотелось взять меня и покормить грудью, но она верно слишком наелась и не могла подняться. Позвольте мне сесть у дверей и дайте мне пряжу. Здесь мне не видно. К тому же, сидя за прялкой, я люблю петь и болтать, а это могло бы помешать вам в ваших важных думках.

— Из пещеры мы тебя не выпустим, но в комнате рядом есть свет, луч из верхнего мира проникает сквозь расщелины скал. Там ты можешь прясть, если умеешь. Тут целые груды старых концов. Их ты можешь скрутить. Но, берегись: если ты будешь прясть лениво, или если порвется нитка, то нити обовьются вокруг тебя и задуют тебя.—Старуха злобно засмеялась и продолжала прясть.

Басня схватила охапку нитей, взяла прялку и веретено и выскочила, напевая, из комнаты. Она выглянула в отверстие и увидела созвездие Феникса. Радуюсь этому счастливому знаку, она весело взялась за пряжу, раскрыла немного дверь коморки и стала тихо напевать:

«Проснитесь в темной келье,
Вы, жившие века.
Покиньте подземелье,
Заря недалеко.

Я скоро ваши нити
В одну соединю.
Раздоры прокляните,
Пойдем навстречу дню.

Один—во всех разлейся,
И все—в одном живи.
Единым, сердце, бейся
Дыханием любви!

Пока вы—дух без плоти,
Видение и вздох.
Но если в ад сойдете,
Спугните этих трех».

Веретено завертелось с невероятной быстротой между маленькими ножками, в то время как она крутила обеими руками тонкую нить. Во время песни появились бесчисленные огоньки, которые проскальзывали в замочную скважину и наполняли пещеру уродливыми личинами. Старухи в это время продолжали ворчливо прясть и ждали криков и плача маленькой Басни. Но до чего они испугались, когда вдруг за их плечами показался какой-то страшный нос и когда, обернувшись, они увидели, что вся пещера полна страшных существ, производивших всевозможные бесчинства. Они бросились друг к дружке, завывли страшным голосом и окаменели бы от ужаса, если бы в эту минуту не вошел в пещеру писец,

имевший при себе волшебный корень мандрагоры. Огоньки заползли в ущелья скал, и в пещере стало светло, потому что черная лампа среди общего смятения упала и потухла. Старухи обрадовались приходу писца, но негодовали против маленькой Басни. Они позвали ее, закричали на нее христыми голосами и запретили ей продолжать работу. Писец насмешливо ухмыльнулся, считая, что теперь маленькая Басня в его власти и сказал:—Хорошо, что ты здесь и что можно заставить тебя работать. Надеюсь, что тебя будут в достаточной мере наказывать. Это тебя твой добрый гений привел сюда. Желаю тебе долгой жизни и много удовольствия.

— Благодарю за добрые пожелания,—сказала Басня.—Видно, что тебе теперь хорошо живется. Недостает только песочных часов и серпа, а то ты был бы на вид совсем точно брат моих красавиц теток. Если тебе нужно будет гусиное перо, выщипни горсточку нежного пуха из их щек.

Писец хотел было броситься на нее. Она улыбнулась и сказала:—Если тебе милы твои густые волосы и умные глаза, то берегись; вспомни мои ногти. У тебя и так немного осталось.

Он раздраженно повернулся к старухам, которые терли глаза и ощупью искали прялку. Они ничего не могли найти, потому что лампа потухла, и стали осыпать Басню бранными словами.

— Отправьте ее,—злобно сказал он,—ловить тарантулов для изготовления вашего масла. Я хотел сказать вам в утешение, что Эрос без усталости летает, и вашим ножницам будет много работы. Его мать, которая часто заставляла вас пряхть слишком длинные нити, станет завтра добычей пламени.

Он пощекотал себя, чтобы засмеяться, когда увидел, что Басня при этом известии пролила несколько слез, затем дал кусочек корня старухам и ушел, морща нос.

Сестры сердитым голосом приказали Басне отправиться за тарантулами, хотя у них были еще достаточный запас масла. Басня быстро побежала. Она сделала вид, точно открывает ворота, затем громко снова захлопнула их и тихонько прокрадлась вглубь пещеры, где свешивалась сверху лестница. Она поспешно вскарабкалась вверх по ней и вскоре дошла до западной двери, которая открывалась в покои Артура.

Король сидел, окруженный своими советчиками, когда появилась Басня. Северная королева украшала голову короля. Он держал лилию в левой, весы в правой руке. Орел и лев сидели у ног его.

— Государь,—сказала Басня, почтительно преклоняясь перед ним.—Слава твоему твердо укрепленному престолу! Радостные вести твоему раненному сердцу! Скорое возвращение мудрости! Вечное пробуждение миру! Покой мятежной любви! Просветление сердца! Жизнь древности и воплощение будущему!

— Король коснулся ее открытого лба лилией. — Все, чего ты просишь, будет исполнено.

— Я буду трижды просить, а когда приду в четвертый раз, то любовь будет стоять перед дверью. Теперь дай мне лиру.

— Эридан! Принеси ее сюда,—воскликнул король.

Эридан шумно низринулся с потолка и Басня извлекла лиру из его сверкающих струй.

Басня взяла несколько вещей аккордов; король велел подать ей кубок; она отпила глоток и убежала после многократных выражений благодарности. Она скользила очаровательными волнистыми движениями над ледяным морем, извлекая из струн радостную музыку.

Лед издавал очаровательнейшие звуки под ее стопами. Утес скорби принял их за голоса его ищущих возвращающихся детей и отвечал тысячекратным эхо.

Басня вскоре дошла до берега. Она встретила свою мать. У нее было бледное изможденное лицо, она сделалась стройной и строгой, и ее благородные черты носили следы безнадежного горя и трогательной верности.

— Что с тобой случилось, дорогая мать?—спросила Басня.— Ты стала совсем другой; без потаенного знака я бы тебя не узнала. Я надеялась найти утешение у твоей груди. Я давно тоскую по тебе.

Гинистана нежно приласкала ее, и лицо ее сделалось радостным и приветливым. — Я знала, что писец тебя не поймает. Твой вид оживляет меня. Мне очень тяжело, но я скоро утешусь. Может быть, у меня будет минута покоя. Эрос здесь по близости, и если он тебя увидит и ты с ним поболтаешь, он, быть может,

останется несколько времени. А пока возьми мою грудь; я дам тебе, что у меня есть.—Она взяла Басню на колени, протянула ей грудь и продолжала, улыбаясь, говорить с малюткой, которая жадно пила:

— Я сама виновата,—сказала она,—в том, что Эрос сделался таким диким и непостоянным. Но я не раскаиваюсь, ибо те часы, которые я провела в его объятиях, сделали меня бессмертной. Я таяла от его пламенных ласк. Точно небесный хищник, он яростно тщился уничтожить меня и потом с гордостью торжествовал над своей трепетной жертвой. Мы поздно проснулись после нашего запретного упоения в странно-измененном виде. Длинные серебристо-белые крылья скрывали его белые плечи и очаровательную полноту гибкого стана. Сила, которая его внезапно превратила из мальчика в юношу, точно вся ушла в его сверкающие крылья, и он снова сделался мальчиком. Тихий зной его лица превратился в капризный, блуждающий огонек, священная строгость—в приторное лукавство, внушительное спокойствие—в детское непостоянство, благородная степенность—в изменчивую подвижность. Я почувствовала непреодолимое страстное влечение к своенравному мальчику, и его веселые насмешки и равнодушие, в ответ на мои нежнейшие просьбы, причиняли мне страдание. Я увидела, как изменился мой облик. Моя беспечная веселость исчезла и уступила место печальной озабоченности, нежной робости. Мне хотелось скрыться с Эросом от всех глаз. У меня не хватало духа взглянуть в его оскорбляющие глаза, и я чувствовала себя пристыженной и униженной. Он один занимал мои мысли, и я готова была бы отдать жизнь, чтобы освободить его от его недостатков. Я продолжала его обожать, как глубоко он ни ранил мои чувства.

С того времени, как он ушел и покинул меня, как трогательно и слезно я ни молила его остаться со мной, я всюду следовала за ним. Он точно нарочно дразнит меня. Едва я настигаю его, как он коварно улетает от меня. Его стрелы вносят всюду опустошение. Я должна все время утешать несчастных, а между тем, сама нуждаюсь в утешении. Голоса несчастных, призывающих меня, указывают мне его путь, а их горестный плач, когда мне приходится снова покинуть их, западает мне глубоко в душу. Писец

преследует нас с ужасающей яростью и мстит бедным жертвам. Плодом той таинственной ночи было множество странных детей, похожих на своего деда и названных по нем. Крыленные, как их отец, они постоянно сопровождают его и мучат несчастных, в которых попадает его стрела. Но вот приближается веселый караван. Я должна оставить тебя. Прощай, милое дитя. Его близость будит мою страсть. Будь счастлива в твоём начинании.

Эрос прошел мимо, не устаивая Гинистану, побежавшую ему навстречу, нежного взгляда. Но к Басне он отнесся приветливо, и его маленькие спутники весело заплясали вокруг нее. Басня обрадовалась свиданию со своим молочным братом и спела под звуки лиры веселую песенку. Эрос задумался и уронил лук. Спутники его заснули на траве. Гинистана обняла его, и он не отклонил ее ласки. Наконец, и Эрос стал дремать; он прижался к Гинистане и заснул, распростерши над нею свои крылья. Утомленная Гинистана была бесконечно счастлива и не спускала глаз со спавшего прекрасного юноши. Во время пения со всех сторон появились тарангулы. Они протянули сверкающую сеть над травой и оживленно двигались в такт по нитям. Басня стала утешать мать и обещала ей скорую помощь. С утеса раздавались нежные отголоски музыки, баюкая уснувших. Гинистана брызнула несколько капель из бережно сохраненного сосуда в воздух и прелестнейшие сны сошли на спавших. Басня взяла сосуд с собой и снова двинулась в путь. Ее струны не умолкали, и тарангулы следовали на быстро сотканых нитях за волшебными звуками.

Вскоре она увидела издали высокое пламя костра, поднимавшегося над зеленым лесом. Она грустно взглянула на небо и обрадовалась, увидав синее покрывало Софии; оно тянулось волнами по земле и покрыло на веки страшную бездну. Солнце стояло в небе огненно-красное от гнева; мощное пламя всасывало его похищенный свет, и как сильно оно ни старалось сохранить себя, все же оно становилось все более бледным и пятнистым. Пламя делалось все более белым и могучим по мере того, как бледнело солнце. Оно все сильнее всасывало в себя свет, и вскоре сияние, окружавшее дневное светило, было все пожрано. Солнце превратилось в тусклый блестящий круг, и каждый новый порыв зависти

и ярости увеличивал извержение убегающих световых волн. Наконец, от солнца остался только черный выгоревший шлак, упавший затем в море. Пламя сделалось невыразимо блестящим. Костер выгорел. Оно медленно поднялось в высь и направилось к северу. Басня вступила во двор, имевший запущенный вид; дом тем временем развалился. Кусты терновика росли в скважинах оконных карнизов, и насекомые ползали по сломанным ступеням. Она услышала страшный шум в комнате. Писец и его товарищи радовались смерти сгоревшей матери, но сильно испугались, увидав гибель солнца.

Они тщетно силились затушить огонь и при этом сильно потерпели. Терзаемые болью и страхом, они выкрикивали неистовые проклятия и жалобы. Они еще сильнее испугались, когда вошла в комнату Басня, и с бешеным криком кинулись к ней, чтобы излить на нее свой гнев. Басня пробралась за колыбель, и ее преследователи попали в своем неистовстве в сеть тарантулов, которые отметили им за это бесчисленными укусами. Вскоре все вместе пустились в бешеный пляс под звуки веселой песенки, которую стала играть Басня. Смеясь над их забавными гримасами. Басня подошла к обломкам алтаря и отодвинула их, чтобы найти потайную дверь; по ней она спустилась вниз вместе со своей свигой из тарантулов.

Сфинкс спросил:—Что быстрее молнии?

— Мечь,—ответила Басня.

— Что всего непрочнее?

— Обладание не по праву.

— Кто знает мир?

— Тот, кто знает себя.

— Что составляет вечную тайну?

— Любовь.

— У кого покоится эта тайна?

— У Софии.

Сфинкс жалобно съежился и Басня вошла в нещеру.

— Вот я вам принесла тарантула,—сказала она старухам, которые снова зажгли лампу и усердно работали. Они испугались, и одна подбежала к Басне с ножницами, чтобы заколоть ее. Но она

нечаянно ступила на тарантула, который ужалил ее в ногу. Она жалобно крикнула от боли. Другие старухи бросились ей на помощь, но их тоже стали жалить обозленные тарантулы. Так они и не могли подступиться к Басне и дико прыгали по щещере.

— Сотки нам тотчас же, — гневно крикнули они девушке, — легкое одежды для танцев. Мы не можем пошевелиться в тугих юбках и изнываем от жары; но непременно смочи нитку паучьим соком, чтобы она не порвалась; и нужно заткать пряжу цветами, что выросли в огне; а не то тебе грозит смерть.

— Хорошо, — сказала Басня и ушла в соседнюю комнату.

— Я добуду вам трех больших мух, — сказала она паукам крестовикам, которые укрепили свою воздушную пряжу вокруг потолка и на стенах, — но зато вы должны тотчас же соткать мне три красивых легких платья. Цветы, которыми нужно заткать платья, я сейчас принесу. — Крестовики согласились и взялись быстро за работу. Басня пробралась к лестнице и направилась к Арктуру. — Государь, — сказала она, — злые пляшут, а добрые отдыхают. Прибыло ли пламя? — Прибыло, — сказал король. — Ночь миновала и лед тает. Моя супруга показалась издалека. Враг мой уничтожен. Все оживет. Но я не могу еще показаться, ибо один я не король. Проси, чего ты хочешь. — Мне нужны, — сказала Басня, — цветы, выросшие в огне. Я знаю, что у тебя есть искусный садовник, который умеет возвращать их.

— Цинк, — позвал король, — дай нам цветов. — Садовник выступил вперед, взял горшок, полный огня, и стал сыпать в него сверкающую семенную пыль. Через короткое время оттуда взлетели цветы. Басня собрала их в передник и направилась в обратный путь. Пауки много наработали за это время и оставалось только прикрепить цветы, за что они тотчас же принялись, работая проворно и проявляя много вкуса. Басня благоразумно не обрывала концов, которые висели еще на ткачах.

Она снесла платья уставшим плясуньям; те упали, обливаясь потом, и несколько времени отдыхали от непривычного напряжения. Она ловко раздела тощих красавиц, которые при этом ругали маленькую служанку, и надела на них новые платья, очень изящные и отлично на них сидевшие. Одевая их, она все время

расхваливала чары и доброту своих повелительниц, и старухи были восхищены ее лестью и красотой нарядов. Они успели отдохнуть и, снова увлекшись танцами, стали весело кружиться, коварно обещая девочке долгую жизнь и хорошую награду. Басня вернулась в комнатку рядом и сказала крестовикам:—Теперь вам разрешается съесть мух, которых я заманила в вашу ткань.—Пауков и без того раздражало дерганье ниток, концы которых были еще при них; а старухи кружились, как безумные. Они поэтому все выбежали и бросились на плясуний. Те хотели защититься ножницами, но Басня потихоньку их унесла. Старухи таким образом были побеждены своими товарищами по ремеслу. Пауки давно так не лакомились; они высосали старух до мозга костей. Басня выглянула из ущелья и увидела Персея с большим железным щитом. Ножницы сами налетели на щит, и Басня попросила Персея обрезать ими крылья Эроса и затем увековечить сестер щитом и завершить великое дело.

После того она покинула подземное царство и радостно подялась в дворец Арктюра

— Лен весь соткан. Неживое снова бездыханно. Живое будет царствовать, создавать безжизненное и пользоваться им. Внутреннее выявится, внешнее сокроется. Занавес скоро поднимется и представление начнется. Еще один раз я обращаюсь к тебе с просьбой, а потом я буду прясть дни вечности.—Счастливого дитя,—сказал растроганный монарх.—ты наша избавительница.—Я только крестница Софии,—сказала девочка.—Разреши Турмалину, Цинку и Золоту проводить меня. Мне нужно собрать пепел моей приемной матери, и древний Носитель должен снова подняться для того, чтобы земля опять вознеслась, а не лежала на хаосе.

Король позвал всех троих и велел им проводить девочку. В городе было светло и на улицах заметно было большое оживление. Море с ревом прибывало к высокому утесу, и Басня проехала туда в коляске короля со своими провожатыми. Турмалин тщательно собрал взлетающий пепел. Они обошли вокруг земли, пока не добрались до старого великана, по плечам которого они сползли вниз. Он казался разбитым параличом и не мог шевельнуться. Золото положил ему в рот монету, а садовник пододвинул миску

под его чресла. Басня коснулась его глаз и вылила воду из сосуда на его лоб. Как только вода стекла с глаз в рот и вниз в миску, по всем его мышцам пробежала молнией искра жизни. Он открыл глаза и мощно выпрямился. Басня прыгнула к своим провожатым на вздымавшуюся землю и ласково поздоровалась с ним.—Ты снова пришла, милое дитя?—спросил старик.—Я все время видел тебя во сне. Я знал, что ты явишься прежде, чем отяжелеют мои глаза и земля станет мне бременем. Я верно долго спал.—Земля опять стала легкой, как и была всегда легка, добрым,—сказала Басня.—Старые времена возвращаются. Скоро ты будешь снова среди старых знакомых. Я сотку тебе радостные дни и у тебя будет помощник для того, чтобы ты иногда принимал участие в наших радостях и мог бы, опираясь на подругу, дышать молодостью и силу. Где наши старые приятельницы, геспериды?—У Софии. Вскоре их сад снова зацветет и золотой плод будет попрежнему благоухать. Они ходят и собирают сладостные растения.

Басня удалилась и поспешила к дому. Он превратился в развалины. Плющ обвился вокруг стен. Высокие кустарники покрывали свою тенью прежний двор и мягкий мох устилал старые ступени. Она вошла в комнату. София стояла у вновь отстроенного алтаря. Эрос лежал у ее ног, в доспехах, более серьезный и благородный, чем когда либо. Великолепная люстра свисала с потолка. Поя был выложен пестрыми камнями; они широким кругом обводили алтарь, образуя благородно-значительные фигуры. Гинистана наклонилась над ложем, на котором лежал отец, видимо, погруженный в глубокий сон, и плакала. Ее цветущую грацию бесконечно возвышало выражение благочестия и любви. Басня передала урну, в которой собран был пепел, святой Софии, которая ее нежно обняла.

— Милое дитя,—сказала она,—твое рвенне и твоя верность обеспечили тебе место среди вечных звезд. Ты избрала бессмертное в себе. Феникс принадлежит тебе. Ты будешь душой нашей жизни. Теперь разбуди жениха. Глашатай зовет, Эрос должен отправиться в поиски за Фреей и разбудить ее.

Басня несказанно обрадовалась этим словам. Она позвала

своих провожатых, Золото и Цинка, и подошла к ложу. Гинистана смотрела на нее, преисполненная ожидания. Золото расплавил монету и наполнил вместилище, где лежал отец, сверкающею струею. Цинк обвил грудь Гинистаны цепью. Тело поплыло по дрожащим волнам.—Наклонись, милая мать,—сказала Басня,—и положи руку на сердце возлюбленного.

Гинистана наклонилась. Она увидела свой многократно отраженный образ. Цепь коснулась потока, ее рука—его сердца; он проснулся и привлек восхищенную невесту к себе на грудь. Металл сплавился и превратился в светлое зеркало. Отец поднялся. глаза его сверкнули, и как ни была прекрасна и значительна его фигура, все же тело его казалось как бы тонкой, бесконечно подвижной влагой, которая передавала каждое впечатление разнообразнейшими и очаровательнейшими движениями.

Счастливая чета подошла к Софии, которая благословила их и внушила им, чтобы они усердно глядели в зеркало, ибо оно отражает все в истинном виде, уничтожает всякую мишуру и вечно хранит первообраз. Она взяла затем урну и высыпала пепел в чашу на алтаре. Мягкое шипение возвестило о том, что пепел растворился, и легкий ветер пронесся по одежде и кудрям присутствовавших.

София передала чашу Эросу и он другим. Все отведали божественного питья и ощутили несказуемую внутреннюю радость, внимая приветствию матери. Ее близость ощущалась всеми, и ее таинственное присутствие точно все преображало.

Ожидание исполнилось выше меры. Все поняли, чего им недоставало, и комната сделалась обиталищем блаженных. София сказала:—Ведикая тайна всем открыта и остается на веки разгаданной. Из страданий рождается новый мир; в слезах пепел растворяется и становится нектаром вечной жизни. В каждом обитает небесная мать, чтобы вечно рождать новое дитя. Чувствуете ли вы сладостное рождение в ударах вашего сердца?

Она выпила на алтаре остаток из чаши. Земля сотряслась в своих глубинах. София сказала:—Эрос, поспеши вместе с сестрой к твоей возлюбленной. Вскоре вы снова меня увидите.

Басня и Эрос поспешили уйти со своими провожатыми. По

земле разлилась мощная весна. Все поднялось и зашевелилось. Земля неслась ближе к покрову. Месяц и облака мчались с веселым гамом на север. Королевский замок дивно сиял над морем, и на зубцах стоял окруженный свитой король во всем своем великолении. Со всех сторон поднимались вихри пыли, в которых вырисовывались знакомые фигуры. Они встречали толпы юношей и девушек, которые стремились в замок и восторженно приветствовали их. На многих холмах сидели счастливые, только что проснувшиеся влюбленные пары и заключали друг друга в объятия, по которым давно истосковались. Новый мир казался им сновидением, и они неустанно радовались прекрасной действительности.

Цветы и деревья мощно росли и зеленели. Все казалось одушевленным. Все говорило и пело. Басня приветствовала всюду старых знакомых. Звери подходили к проснувшимся людям, радостно приветствуя их. Растения угощали их плодами и ароматами и очаровательно наряжали их. Ни один камень не давил более человеческой груди, все тяжести сплотились вместе, образуя твердую почву. Они пришли к морю. Судно из полированной стали было привязано к берегу. Они сели в него и отвязали веревку. Нос повернулся к северу, и судно прорезало, точно на лету, ласкающиеся к нему волны. Шелестящий камышь затих; они тихо пристали к берегу и быстро поднялись по широкой лестнице. Любовь была поражена царственным городом и его богатствами. Во дворе бил оживший фонтан, роща шелестела сладчайшими звуками, и в ее жарких стволах и листьях, в ее сверкающих цветах и плодах точно зарождалась и цвела жизнь. Старый герой встретил их у дверей дворца.—Почтенный старец,—сказала Басня.—Эросу нужен твой меч. Он получил от Золота цепь, которая одним концом спускается в море, а другим охватывает его грудь. Возьмись за нее вместе со мной и поведи нас в зал, где покоится принцесса.

Эрос взял из рук старика меч, приставил его к труди и наклонил острие вперед. Двери зала распахнулись и Эрос, восхищенный, подошел к спавшей Фрее. Вдруг произошло сильное сотрясение. Светлая искра пролетела от принцессы к мечу; меч и цепь блеснули, герой поддержал маленькую Басню, которая чуть

не упала. Султан на шлеме Эроса заколыхался.—Брось меч,—крикнула Басня,—и разбуди твою возлюбленную. Эрос уронил меч, устремился к принцессе и пламенно поцеловал ее сладостные уста. Она открыла свои большие темные глаза и узнала возлюбленного. Долгий поцелуй запечатлел вечный союз.

С купола спустился вниз король, держа за руку Софию. Созвездия и духи природы следовали за ними блестящими рядами. Несказанно-ясный день заполнил залу, дворец, город и небо. Бесчисленная толпа излилась в огромный королевский зал и смотрела с тихим умилением, как любящие склонили колени перед королем и королевой, которые торжественно благословили их. Король снял с головы венец и возложил его на золотые кудри Эроса. Старый герой снял с него доспехи и король набросил на него свою мантию. Затем он дал ему лилию в левую руку, и София надела очаровательное запястье на соединенные руки любящих, а также увенчала своим венцом темные волосы Фрей.

— Слава нашим повелителям!—возкликнул народ.—Они всегда жили среди нас, но мы их не знали. Благо нам! Они будут вечно властвовать над нами! Благословите и нас!

София сказала новой королеве:—Брось запястье, знаменующее ваш союз, на воздух, для того, чтобы народ и мир оставались в союзе с вами. Запястье разлилось в воздухе и вскоре над каждой головой появились светлые круги; сверкающая лента протянулась над городом, над морем и землей, которая праздновала вечный праздник весны. Вошел Персей; в руках у него были веретено и корзинка.

— Вот,—сказал он,—останки твоих врагов.—В корзинке лежала каменная доска с черными и белыми квадратами и рядом множество фигур из алебаstra и из черного мрамора.

— Это шахматы,—сказала София;—все войны сведены к этой доске и к этим фигурам. Это памятник старого смутного времени.—Персей обратился к Басне и дал ей веретено.

— В твоих руках это веретено будет вечно нас радовать, и ты будешь нам прясть из самой себя золотую неразрывную нить.

Феникс прилетел с звучным шумом к ее ногам, распростер перед нею свои крылья, на которые она села, и пронесся с нею

над тронем, на который более не спускался. Она пропела небесную песню и стала прясть, при чем нить как бы вилась из ее груди. Народ снова пришел в восторг и все взоры устремились на милое дитя. Потом снова в дверях раздалось ликование. Старый месяц явился со своей удивительной свитой, и за ним народ нес на руках, как бы в триумфальном шествии, Гинистану и ее жениха.

Их обвивали венки цветов. Королевская семья встретила их с сердечной нежностью, и новая королевская чета провозгласила их своими наместниками на земле.

— Отдайте мне,—сказал месяц,—царство парок, причудливые строения которого только что выступили из под земли на дворцовом дворе. Я позабавлю вас там представлениями, для чего мне понадобится помощь маленькой Басни.

Король согласился; маленькая Басня ласково кивнула головой, и народ обрадовался странному, занимательному времяпрепровождению. Геопериды прислали поздравления с восшествием на престол и попросили защиту для своих садов. Король велел принять их, и так следовали одно за другим бесчисленные радостные посольства. Тем временем трон незаметно преобразился и сделался пышным брачным ложем, над пологом которого неслись Феникс и маленькая Басня. Три кариатиды из темного порфира подхватывали полог сзади, а спереди он покоился на базальтовой фигуре сфинкса. Король обнял свою зардевшуюся возлюбленную, и народ последовал примеру короля: все стали обниматься. Слышны были только нежные поцелуи и шопот. Наконец, София сказала:—Мать среди нас, ее присутствие принесет нам счастье навеки. Последуйте за нами в наше жилище; мы будем вечно жить там в храме и будем хранить тайну мира. Басня стала усердно прясть и громко запела:

«Основан Вечности заветный град.
В любви и мире позабыт разлад.
Прошли, как сон, страданья вековые.
Властительница душ навек София».

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

С В Е Р Ш Е Н И Е

МОНАСТЫРЬ ИЛИ ПРЕДДВЕРИЕ

Astralis.

Я летним утром вдруг помолодел;
И я почувствовал, как бьется жизнь
Впервые,—и пока моя любовь
В восторгах изливалась без конца,
Я больше просыпался, и стремленье
К сильнейшему, последнему слиянью
Во мне росло и крепло каждый миг.
Я силой сладострастья был зачат.
Я—середина, я—священный ключ,
Откуда каждое томленье льет
Струи свои, куда стремится опять,
Разбитое, покорную волну.
Вы видели меня, не зная.
Вы помните, как я при вас
Ночным скитальцем в первый раз вошел
В тот вечер радостный? Как в тот же миг
Вы дивной дрожью были зажжены?
Я, затаенный в чашечках медовых,
Благоухал и колыхал цветы
В тумане золотом. Я был незримым
Ручьем, бореньем тихим, все текло
Ко мне и сквозь меня, волнуя нежно.
И вот пыльца, упавшая на пестик,
— Вы помните вечерний подблуд?—
Запенила холодную волну,
Как молния; в меня движенья влились,

Все нити тонкие зашевелились,
Что было тайным помыслом моим,
Вдруг становилось зримым и земным.
Но был я слеп, и только звезд горенье
В таинственном манило отдаленье,
И чудилось мне много теней странных.
Времен былых, времен обетованных.
Рожденный мудрой мукой и любовью
Недолго жил сознания росток.
Кто сладострастие во мне зажег,
Тот напоил меня и горькой кровью,
И мир зацвел по склонам озаренным,
И прорицанье стало окрыленным.
Нет Гейнриха, Матильды нет в сознании,
Они слились в одном очаровании!
Исполнилось! Взошло земное семя,
Меня к лазури дихри вознесли!
Блаженный миг, приди и утоли!
Свои права утратившее время
Дары свои отъемлет у земли.

Иного мира близки дни.
В них померкнут солнечные огни,
И вспыхнут в заустенье мшистом
Дни грядущие в торжестве лучистом.
И все, что длилось каждый день,
Как сказочная встанет тень.
Любви опять настала власть,
И Басня начинает пряхть.
Вот древние игры естества.
Вот новые, мощные слова.
Так дух великий, мировой
Зацветает всюду, всегда живой.
Все должно друг в друга проникнуть,
Все друг от друга зардеть, возникнуть.
Каждый—со всем соединен.

В единстве крепком пали покровы,
В заветные недра входит он,
Там воскресает для жизни новой,
Новым сознанием там окрылен.
И сон—как мир, и мир—как сон.
Все, что казалось,—свершено,
Лишь в отдаленье унесено.
Все перепутав нити, строит
По воле свободное воображенье:
Здесь что-то завесит, а здесь приоткроет,
В волшебном развеется дуновенье.
Горечь и сладость, жизнь и тленье
Слиты в одно для души живой,—
И не узнает исцеленья,
Кто предан страсти роковой.
С болью повязка разорвется,
Упав с духовных наших глаз,
Верное сердце не вернется,
С печальным миром разлучаеь.
И тело изойдет рыданьем
И мир могилой назовет,
И в мир, сожженное страданьем,
Как пепел, сердце упадет.

По узкой тропинке, которая поднималась в горы, шел странник, погруженный в глубокие мысли. Полдень миновал. Сильный ветер свистел в синем воздухе и его глухие многообразные голоса замолкали, едва раздавшись. Не пронесся ли он через страны детства? Или через другие, говорящие страны? То были годоса, звук которых отдавался в глубине души, и все же странник как будто не знал этих голосов. Он дошел до горы, где надеялся обрести цель своего пути.

— Надеялся?—Он уже ни на что не надеялся. Мучительный страх, а также сухой холод равнодушнейшего отчаяния погнали его к диким ужасам гор. Трудности пути смирили разрушительную игру внутренних сил. Он устал, но успокоился. Он еще не видел

того, что постепенно заполняло пространство вокруг него, когда сел на камень и оглянулся. Ему показалось тогда, что он спит и видит сон или же был во сне до того. Необозримое великолепие открылось его взорам; вскоре у него потекли слезы, и силы оставили его. Ему захотелось выплакать всего себя, чтобы не осталось и следа его существования. Посреди сильных рыданий он, наконец, как будто пришёл в себя; мягкий, ясный воздух пронизал его. мир снова открылся его чувствам, и старые мысли повели утешающую беседу.

Перед ним был Аугсбург с его башнями. Вдали на горизонте блистало зеркало страшного таинственного потока. Огромный, суровый лес повернулся, с утешением, к страннику, зубчатые горы внушительно покоились над равниной и, вместе с лесом, как бы говорили:— Мчись, поток, сколько хочешь, ты от нас не уйдешь. Я последую за тобой на окрыленных судах; я сломаю тебя, схвачу и поглочу тебя! Доверься нам, странник, этот поток и наш враг, которого мы сами создали. Как бы он ни мчался со своей добычей, все равно он от нас не уйдет.

Бедный странник вспомнил старые времена с их несказанными очарованиями. Но как тускло проносились эти милые воспоминания! Широкая шляпа закрывала молодежавое лицо. Оно было бледно, как ночной цветок. Бальзам молодой жизни претворился в слезы, его вздымающееся дыхание—в глубокие стоны. Все краски поблекли и слились в пепельно серый цвет.

В стороне, на склоне, он увидел как будто монаха, стоявшего на коленях под старым дубом.— Неужели это старый придворный капеллан?— подумал он почти без изумления. Монах казался ему все более высоким и бесформенным, по мере того, как он к нему подходил. Наконец, он увидел, что ошибся; перед ним стоял высокий утес, над которым склонилось дерево. Он в тихом умилении обнял камень и, громко плача, прижал его к груди.— О, если бы теперь исполнились твои слова и, святая мать подала бы мне знак! Я так несчастен и покинут всеми. Неужели же в моей пустыне нет святого, который помолился бы за меня? Помолись же ты, дорогой отец, в этот миг за меня.

В то время, как он это подумал, дерево начало дрожать; камень

глухо зазвенел, и точно откуда-то из глубины подземной раздалось несколько ясных голосков. Они запели:

«Она лишь радость знала,
Не мучась, не грустя,
И к сердцу прижимала
Любимое дитя,
Целуя лобок милый,
Целуя вновь и вновь.
И в ней с непомерной силой
Росла и крепла любовь».

Тонкие голоса пели, видимо, с бесконечной радостью. Они повторили песню несколько раз. Затем все снова затихло и изумленный странник услышал, как кто-то сказал из дерева:

— Если ты в честь меня сыграешь песню на твоей лютне, то сюда придет бедная девушка. Возьми ее с собой и не отпускай ее. Помни обо мне, когда ты придешь к императору. Я избрала это место, чтобы жить здесь с моим ребенком. Вели выстроить мне здесь крепкий теплый дом. Мой ребенок преодолел смерть. Не печалься. Я с тобой; ты еще пробудешь несколько времени на земле, но девушка будет утешать тебя, пока ты тоже не умрешь и не приобщишься нашим радостям.

— Это голос Матильды!—воскликнул странник и пал на колени, молясь. Тогда взора его коснулся сквозь ветви длинный луч, и сквозь этот луч он узрел в небольшом виде далекую дивную красоту, которую невозможно было бы ни описать, ни искусно изобразить красками. То, что он видел, были необычайно тонкие фигуры, и глубокая их радость и наслаждение, их небесное блаженство сказывались в том, что даже неживая утварь, колонны, ковры, украшения, словом, все, что представлялось взорам, казалось не сделанным руками, а как бы выросшим и составившимся, подобно полному соков растению, из собственной жажды радости. А среди этих предметов двигались люди очаровательного вида, в высшей степени любезные и ласковые друг с другом. Впереди всех стояла возлюбленная странника, и казалось, что она хочет с

ним заговорить. Но ее слов не было слышно, и странник только смотрел с глубоким томлением на ее очаровательные черты и на то, как она с ласковой улыбкой кивнула ему и приложила руку к левой стороне груди. Вид ее был ему бесконечно отраден, и странник долго еще лежал в блаженном восторге, когда видение исчезло. Святой луч извлек все страдание и заботы из его сердца; душа его сделалась снова чистой и легкой и дух свободным и веселым. Ничего не оставалось, кроме тихого глубокого томления и грустного отзвука на самой глубине. Дикие муки одиночества, суровая боль несказанной утраты, ужасающее чувство пустоты и земной слабости исчезли, и странник снова почувствовал себя в полном значения мире. Голос и речь снова в нем ожили, и все показалось ему более знакомым и пророческим, чем прежде; смерть представилась ему высшим откровением жизни; на свое собственное быстротечное существование он глядел теперь с детским чувством светлой растроганности. Грядущее и минувшее соприкоснулись в нем и заключили тесный союз. Он очутился далеко вне действительности, и мир стал дорог ему лишь теперь, когда он потерял его и стал в нем чужим; лишь недолго предстояло ему блуждать по большим пестрым залам. Наступил вечер, и земля лежала перед странником словно старый, милый дом, который он нашел покинутым после долгого отсутствия. Тысячи воспоминаний теснились в нем. Каждый камень, каждое дерево, каждый холм будили память. Каждый предмет в отдельности напоминал о старой были.

Странник взял лютню и запел:

«Слезы счастья, пламя жизни,
Брызги, брызги,
Освяти мой храм веселый.
Где я призван раем вечным.
Взвейтесь, слезы, словно пчелы,
В славословье бесконечном.

Вас родные ветви примут
И обнимут,

И спасут от гроз и града.
Чудом станет и святыней
Это дерево в долине
Ей взлелеянного сада.

Даже камень, весь склоненный,
Опьяненный,
К Матери припал, рыдая.
Если в камнях—благочестье,
Людам ли не плакать вместе,
Кровь за Деву отдавая?

Угнетенные, столпитесь
И склонитесь
Здесь в неутомимом хоре.
Здесь от жалоб все отвыкнут,
Все счастливые воскликнут:
Некогда мы знали горе!

Стены каменные встанут,
Ввысь воспрянут.
Пусть в долинах вопль молений
В трудное и злое время:
Сердцу сладко это бремя,
Вверх на светлые ступени!

Матерь Божья, лик любимый!
Я, гонимый,
Удаляюсь в озаренье.
Вечной кротости внимаю.
Ты—Матильда! Знаю, знаю,
О тебе мое томленье.

Не спрошу я, нечестивый,
Но призыву
Пламенному вечно внемлю.

Греза о твоей отчизне,
 В тысячах волшебных жизней
 Я прославлю эту землю.

Чудеса времен застывших
 И небывших—
 Вас навеки я взлелеял.
 Славься, храм мой незабвенный,
 Где поток лучей священный
 Грезы горькие развеял».

Занятый пением, он ни на что не обращал внимания, когда же оглянулся, то увидел, что около него, подле утеса, стояла молодая девушка. Она ласково приветствовала его, как старого знакомого, и пригласила его пойти с нею в ее дом, где она уже приготовила ему ужин. Он нежно заключил ее в свои объятия. Все в ее существо было ему мило. Она просила его подождать несколько мгновений, стала под дерево, с невыразимой улыбкой взглянула наверх и высыпала из передника множество роз на траву. Затем она тихо стала на колени подле них, но тотчас же поднялась и увела странника.

— Кто сказал тебе обо мне?—спросил странник.

— Наша мать.

— Кто твоя мать?

— Матерь Божия.

— С которых пор ты здесь?

— С тех пор, как вышла из гроба.

— Разве ты уже раз умерла?

— А то как бы я теперь жила?

— Ты здесь живешь совсем одна?

— В моем доме живет старик, но я знаю еще много других, которые жили.

— Тебе хочется остаться у меня?

— Я ведь тебя люблю.

— Откуда ты меня знаешь?

— С давнего времени. И о тебе рассказывала моя прежняя мать.

- У тебя еще есть мать?
— Да, но она все та же.
— Как ее звали?
— Мария.
— Кто был твой отец?
— Граф Гогенцолерн.
— Я его тоже знаю.
— Конечно, знаешь: ведь он и твой отец.
— Мой отец в Эйзанахе.
— У тебя есть еще другие родители
— Куда же мы идем?
— Всякий путь ведет домой.

Они вышли на открытое просторное место в лесу, где стояло несколько развалившихся башен за глубокими рвами. Юный кустарник вился вокруг старых стен, как юношеский венок вокруг серебристых волос старца. Тому, кто глядел на серые камни, на молниеобразные трещины и на очерченные страшных, высоких фигур, открывалась безмерность времен, и продолжительнейшие периоды истории казались сосредоточенными на пространстве мгновений. Так небо являет безграничные области облеченными в глубокую синеву и окутывает дальние полчища своих тяжелых, огромных облаков молочным блеском, невинным, как щеки младенца. Они вошли в старые ворота, и странник не мало удивился, когда очутился среди редких растений и увидел скрытый среди развалин очаровательный сад. Позади был маленький каменный домик новой архитектуры, с большими светлыми окнами. Там стоял старый человек за широколиственными кустами и привязывал слабые ветви к палочкам. Спутница странника подвела его к старику и сказала:

— Вот Гейнрих, о котором ты так часто меня спрашивал.

Когда старик обернулся к нему, Гейнриху показалось, что перед ним стоит рудокоп.

— Это врач Сильвестр,— сказала девушка. Сильвестр обрадовался Гейнриху и сказал:

— Много времени прошло с тех пор, как меня посетил твой отец таким же молодым, как ты теперь. Я тогда познакомил его

с сокровищами минувшего, с драгоценным наследием слишком рано угасшего мира. Я увидел в нем задатки большого скульптурного дарования. У него были глаза, преисполненные радости, истинно творческие глаза. Лицо его выражало внутреннюю твердость и упорное рвение. Но непосредственная действительность пустила слишком глубокие корни в нем. Он не слушался зова своей истинной природы; хмурая суровость неба его родины убила в нем нежные ростки благороднейшего растения. Он сделался искусным ремесленником, и его воодушевление превратилось в безразсудство.

— Я действительно часто с грустью замечал в нем скрытое недовольство,—сказал Гейнрих.—Он работает без усталости по привычке, но без внутреннего желания. Ему точно чего-то не достает, чего ему не может заменить мирная тишина его жизни, удобства его обеспеченности, радостное сознание того, что его уважают и любят его сограждане и что к нему обращаются за советами во всех городских делах. Его знакомые считают его очень счастливым человеком; но они не знают, до чего он пресыщен жизнью и каким пустым ему иногда кажется мир, как страстно ему хочется покинуть его; не знают они также и того, что он так прилежно работает не из стяжательства, а только для того, чтобы рассеять это настроение.

— Что меня более всего удивляет,—возразил Сильвестр,—это то, что он предоставил ваше воспитание вашей матери и старательно избегал вмешательства в дело вашего развития, не назначал вас ни к какой определенной деятельности. Вы должны радоваться тому, что выросли, не терпя ни в чем ограничения от своих родителей. Ведь большинство людей лишь остатки пышного пиришества, расхищенного людьми разных appetitов и вкусов.

— Я не знаю,—возразил Гейнрих,—что такое воспитание, если только это—не жизнь и взгляды моих родителей и преподавание моего учителя, придворного капеллана. Мне кажется, мой отец, при всей холодности и твердости его образа мыслей, побуждавшего его видеть во всех обстоятельствах лишь кусок металла и искусственную работу, все же невольно, и сам того не зная, питает

тихое благоговение и страх Божий ко всем непостижимым явлениям высшего порядка; расцвет ребенка он не может поэтому не созерцать со смиренным самоотвержением. Тут действует дух, исходящий из непосредственного источника бесконечности. Чувство превосходства ребенка в самом возвышенном, неотразимая мысль о необходимости руководить этим невинным существом, которое собирается вступить на столь опасный путь, при его первых шагах, отпечаток дивного мира, еще не ставшего узнаваемым в потоке земного, и, наконец, обаяние собственных воспоминаний о тех баснословных временах, когда мир казался нам более светлым, более дружественным и более замечательным, и дух прозрения почти видимо нас сопровождал—все это расплодилось моего отца к благоговейному и скромному обращению.

— Сядем здесь на терновую скамейку среди цветов,—прервал его старик.—Циана нас позовет, когда будет готов ужин, и я прошу вас продолжить рассказ о вашей прежней жизни. Мы, старики, больше всего любим слушать про детские годы, и мне кажется, что, благодаря вам, я вдыхаю аромат цветка, которого не вдыхал с детства. Только скажите мне сначала, как вам нравятся моя пустыня и мой сад; эти цветы мои друзья. Мое сердце здесь, в этом саду. Все, что вы здесь видите, любит меня и любимо мною нежной любовью. Я здесь среди моих детей и кажусь себе старым деревом, из корней которого выросла вся эта веселая молодежь.

— Счастливый отец,—сказал Гейнрих,—ваш сад—мир. Развалины — матери этих цветущих детей. Пестрое живое мироздание извлекает пищу из развалин минувших времен. Но неужели мать должна была умереть для того, чтобы процвели дети, и неужели отец должен сидеть один у ее могилы в вечных слезах?

Сильвестр протянул руку рыдающему юноше и встал, чтобы принести ему только что расцветшую незабудку, скрепленную с веткой кипариса. Вечерний ветер как-то особенно шумел в верхушках сосен, за развалинами. Доносился их глухой шелест. Гейнрих спрятал заплаканное лицо, обняв шею доброго Сильвестра, и когда снова встал, вечерняя звезда поднялась во всем своем блеске над лесом.

Помолчав, Сильвестр начал: — Я хотел бы вас видеть в Эйзенахе среди ваших сверстников. Ваши родители, почтенная ландграфиня, славные соседи вашего отца, и старый придворный капеллан составляют прекрасное общество. Их беседы должны были рано повлиять на вас. в особенности в виду того, что вы были единственным ребенком. Я представляю себе также местность, где вы жили, в высшей степени приятной и значительной.

— У меня является действительное знание моей родины, — возразил Гейнрих, — лишь с тех пор, как я покинул ее и увидел много других мест. Каждое растение, каждое дерево, каждый холм и каждая гора имеют свой особый кругозор, свою характерную для каждой из них местность. Она принадлежит данной горе, и ею объясняется строение горы, весь ее состав. Только животное и человек могут передвигаться с места на место; им принадлежит весь мир. Все местности вместе взятые являют большую мировую местность, бесконечный кругозор, влияние которого на человека и на животных столь же явственно, как влияние ближайшей среды на растение. Вот почему люди, которые много путешествовали, так же как перелетные птицы и хищные звери, отличаются от других своим более развитым умом и некоторыми удивительными свойствами и способностями. Но, конечно, среди них есть и более и менее восприимчивые к воздействию этих мировых сфер, их разнообразного содержания и распределения. Кроме того, многим людям недостает нужного внимания и спокойствия, чтобы вникнуть сначала в смену зрелищ и их связь, а потом уже подумать и сделать нужные сравнения. Я теперь только часто чувствую, до чего моя родина окрасила неизгладимыми красками мои самые ранние мысли; образ ее сделался таинственным выражением моей души, и я тем яснее вижу это, чем глубже понимаю, что судьба и душа человеческая названия одного и того же понятия. — На меня, — сказал Сильвестр, — всегда наиболее сильное впечатление производила природа, живой покров земли. Я всегда тщательнейшим образом изучал все разновидности растительного царства... Растения — непосредственный язык почвы. Каждый новый листок, каждый своеобразный цветок являет какую-нибудь тайну, пробивающуюся наружу; она становится немым, спокойным растением только по-

тому, что от любви и радости не может двинуться и сказать слово. Когда в глуши видишь такой цветок, не кажется ли, точно все вокруг просветилось и точно звуки маленьких пернатых существ охотнее всего носятся по близости этого цветка? Хочется плакать от радости и, отделившись от мира, зарыться руками и ногами в землю, чтобы пустить корни и никогда не лишаться отрадной близости. Весь мир, сухой, устлан этим таинственным зеленым ковром любви. Каждой весной он обновляется, и его странные письма понятны лишь тому, кто любим—как восточный букет цветов. Он будет вечно и ненасытно читать, и с каждым днем ему будет раскрываться новый смысл, новые все более и более чарующие тайны любящей природы. В этом бесконечном наслаждении и состоят для меня скрытые чары блуждания по всей поверхности земли: каждая местность в отдельности разрешает для меня другие загадки и все более объясняет мне, откуда идет путь и куда он ведет.

— Да,—сказал Гейнрих,—мы начали говорить о детских годах и о воспитании, потому что находились в вашем саду; истинное откровение детства, невинный мир цветов, незаметно разбудил в нас вылившееся в слова воспоминание о цветах прежнего времени. Мой отец тоже большой любитель садоводства; самые счастливые часы своей жизни он проводит среди цветов. Благодаря этому душа его осталась открытой для понимания детей, ибо цветы подобны детям. Щедрое богатство бесконечной жизни, мощные силы позднейшего времени, величие конца мира и золотое будущее всего сущего здесь еще тесно слиты, но все же наиболее ясно и понятно раскрываются. Всемогущая любовь уже дает ростки, но еще не зажигает. Это не пожирающее пламя, а рассеивающееся благоухание, и как ни тесно единение нежных душ, все же оно не сопровождается резкими движениями и всепожирающим неистовством, как у животных. Так детство в своих глубинах ближе всего к земле; облака же, быть может, явления второго, высшего детства, вновь обретенного рая; поэтому они изливаются на первое благодетельными росами.

— Есть, конечно, нечто очень таинственное в облаках,—сказал Сильвестр,—и они оказывают часто самое чудотворное влияние

на нас. Они несутся, и им точно хочется поднять и унести нас со своей холодной тенью. И если очертания их прелестны и пестры, как вздох, выражающий наше затаенное желание, то ясность облаков, дивный свет, проливающийся из за них на землю, становится предвозвестием неведомого, несказанного очарования. Но бывают также мрачные, строгие и страшные облака, которые как бы грозят всеми ужасами древней ночи. Небо точно никогда не хочет проясниться, радостная синева уничтожена и тусклый меднокрасный цвет на иссеро-черном фоне вызывает ужас и страх в груди каждого. Когда после того сверкнут пагубные молнии и насмешливым хохотом зазвучат раскаты грома, мы пугаемся до глубины души. И если в нас тогда не возникает возвышенное чувство нашего нравственного превосходства, то нам кажется, что мы во власти злых духов и ужасов ада.

Это просыпаются в нас отзвуки старой дочеловеческой природы, но вместе с тем это и будящие звуки высшей природы, божественной совести. Смертное содрогается в своих основах, но бессмертное начинает ярче светиться и познает себя.

— Когда же, наконец, — сказал Гейнрих, — прекратится необходимость боли, скорби и всякого зла на земле?

— Когда утвердится *единая* сила — сила совести, когда природа делается целомудренной и нравственной. Причина зла только одна — общая слабость. Слабость же эта ничто иное, как недостаточная нравственная восприимчивость и недостаточное влечение к свободе.

— Объясните мне сущность совести.

— Если бы я мог объяснить ее, я был бы Богом, ибо постижение совести есть вместе с тем и ее возникновение. Можете ли вы объяснить мне сущность поэтического творчества?

— Нельзя давать определения тому, что носит личный характер.

— Тем более нельзя объяснить тайну высшей неделимости. Разве можно объяснить музыку глухому?

— Так значит, понимание означает участие в новом, им самим открытом мире? Значит постичь что-нибудь можно лишь обладая тем, что постигаешь?

— Мир, как целое, разделяется на бесконечные миры. входящие в миры еще большие. Все чувства, в конце концов, *одно и то же* чувство. Одно чувство ведет, как и один мир, постепенно ко всем мирам. Но на все есть свое время, и все существует по своему. Только живущий в целостном мире может понять соотношения нашего мира. Трудно сказать, можем ли мы, ограниченные ощущениями нашего тела, расширить наш мир новыми мирами, умножить наши чувства новыми чувствами, или же каждое расширение нашего познания, каждую ново-приобретенную способность следует считать только развитием нашего мирового чувства в его теперешнем виде.

— Может быть, оба они одно и то же,—сказал Гейнрих. Я знаю только то, что для меня поэтический вымысел—все в себе заключающее орудие, которым создается мой теперешний мир. Даже совесть, эта сила, творщая чувства и миры, этот зародыш всякой личности, представляется мне духом мировой поэмы, случайностью вечного романтического соединения бесконечно изменяющейся общей жизни.

— Почтенный странник,—возразил Сильвестр,—совесть проявляется в каждом серьезном завершении, в каждой образовавшейся истине. Каждое влечение, каждое умение, переработанное путем мысли в мировой образ, становится явлением, преображением совести. Всякое образование ведет к тому, что нельзя назвать иначе, чем свободой, хотя этим следует обозначать не только самое понятие, но и созидательную причину всего сущего. Эта свобода—мастерство. Мастер пользуется свободой творчества согласно своим намерениям и в определенной обдуманной последовательности. Произведения его искусства принадлежат ему и зависят от него; он ими не скован, и они ему не препятствуют. И эта всеобъемлющая свобода, мастерство или владычество, и составляет сущность, действительную силу совести. В ней раскрывается священная обособленность, непосредственное творчество личности, и каждое действие мастерства вместе с тем свидетельство высшего, простого, незапутанного мира—слово Господне.

— Значит, и то, что прежде, как мне кажется, называлось учением о нравственности,—только религия, как наука—только, так называемое, богословие в самом настоящем смысле слова? Только

законопорядок, который относится к богопочитанию, как природа к Богу? Только построение слов, строй мыслей, который обозначает высший мир, его собой представляет и на известной ступени развития его заменяет? Религия для способности понимать и судить? Приговор, закон распада и определения всевозможных обстоятельств индивидуального существа?

— Конечно, совесть.—сказал Сильвестр,—прирожденный посредник всякого человека. Она заменяет Бога на земле и потому является для многих высшим и последним. Но как далека была современная наука, которую называют учением о добродетели или о нравственности, от чистого образа этой возвышенной, всеобъемлющей, индивидуальной мысли. Совесть самое основное в человеке в полном своем преображении; она небесный прообраз человека. Совесть—это не то или другое; она не отдает приказаний в изречениях общего характера, она не состоит из отдельных добродетелей. Есть только одна добродетель—чистая и напряженная воля, которая в решительную минуту непосредственно решает и выбирает. Обиталищем для ее живой и своеобразной нераздельности служит тот нежный символ, каковым является человеческое тело; она одухотворяет его и может вызвать к существеннейшей деятельности все, что в нем есть духовного.

— О, дорогой степ,—прервал его Гейнрих.—какой радостью преисполняет меня свет, исходящий из ваших слов! Значит, истинный дух поэтического вымысла—благосклонное преобразование духа добродетели; истинная же цель подчиненного ей поэтического творчества—стать двигательной силой высшего и истиннейшего бытия. Есть поражающее сходство между подлинной песнью и благородным поступком. Праздная совесть в ровном, непротивоборствующем мире превращается в захватывающую речь, в повествующую обо всем поэзию. В равнинах и чертогах этого присносущего мира живет поэт, и добродетель—дух его земных странствований и воздействий. Так же, как совесть—непосредственно действенное божество среди людей и вместе с тем дивный ответ высшего мира, и поэзия является тем же самым. Как уверенно может поэтому поэт следовать голосу своего вдохновения или, если он обладает сверхчеловеческим чувством, сле-

довать высшим существам и отдаваться своему признанию с детским смиреннем! И в нем говорит высший голос мира и зовет обаятельными притчами в более благостные, более знакомые миры. Как религия относится к добродетели, так вдохновение относится к поэзии, и если в священных книгах сохранились истории откровения, то поэзия разнообразно отражает жизнь высшего мира в возникающих чудесным образом поэмах. Поэзия и история сопровождают друг друга на самых запутанных путях в тесном сплетении и в самых странных преобразованиях; библия, как и поэзия,— созвездия, идущие по *одной* орбите.

— Это совершенная правда,— сказал Сильвестр,— и теперь вам будет понятно, что только благодаря духу добродетели природа существует и все более утверждается. Дух добродетели всезажигающий, всеоживляющий свет в пределах земного. От звездного неба, этого возвышенного купола каменного царства, до кудрявого ковра на пестром лугу, все держится им, через него связано с нами и становится нам почтительным; и через него неведомый путь бесконечной истории природы ведет к конечному преобразению.

— Да, и вы так прекрасно доказали мне только что связь добродетели с религией. Все, что объемлет собой опыт и земную деятельность, входит в сферу совести, которая соединяет наш мир с высшими мирами. При высшем понимании возникает религия, и то, что прежде казалось непостижимой потребностью нашей природы на самой ее глубине, общим законом без определенного содержания, становится чудесным, родным, бесконечно разнообразным и всецело удовлетворяющим миром, непостижимо тесным единением всех блаженных в Боге и осязательным обожествляющим присутствием наиболее личного существа или его воли, его любви в глубине нас самих.

— Невинность вашего сердца делает вас пророком,— ответил Сильвестр.— Вам все стаяет понятным; мир и его история превращаются для вас в священное писание, так же как в священном писании открывается для вас великий пример того, как вселенная может быть выявлена в простых словах и рассказах; если и не прямо, то путем возбуждения и пробуждения высших чувств.

К тому, что вам открыла восторженная любовь к языку, меня привело изучение природы. Искусство и история дали мне знание природы. Родители мои жили в Сицилии, неподалеку от знаменитой горы Этны. У них был удобный дом старинной архитектуры; он стоял под прикрытием вековых каштановых деревьев у самого скалистого морского берега, составляя украшение сада, где росли разнообразнейшие растения. По близости было много хижин, где жили рыбаки, пастухи и виноделы. Наши кладовые и погреба полны были всего, что сохраняет жизнь и украшает ее; предметы нашего домашнего обихода радовали все сокровенные чувства своим совершенством. Не было недостатка и в других вещах, созерцание которых, так же как и пользование ими, поднимало душу над обыденной жизнью, возвышало потребности и подготавливало к более достойному состоянию, сулило душе более чистую радость от самой ее сущности и давало эту радость. Там были изображения людей из камня, утварь, расписанная целыми повествованиями, маленькие камни с отчетливыми фигурами на них и другие предметы, сохранившиеся от иных, более радостных времен. Кроме того, в ящиках лежало много пергаментных свитков, которые, в длинных рядах букв, хранили знания и мысли, повествования и стихи того минувшего времени, изложенные в мастерских красивых выражениях. Благодаря своей славе, которую он приобрел, как искусный толкователь звезд, отец мой получал многочисленные запросы даже из далеких стран, и к нему приходило много посетителей. А так как предвидение будущего казалось людям очень редким и драгоценным даром, то они хорошо вознаграждали его за его предсказания; отец мой мог, благодаря их подаркам, свободно вести удобный и приятный образ жизни.

ПРОДОЛЖЕНИЕ «ГЕЙНРИХА ФОН ОФТЕРДИНГЕНА» В ИЗЛОЖЕНИИ ТИКА

Дальше автор не пошел в разработке этой второй части. Он озаглавил эту часть «Свершением», так же как назвал первую «Ожиданием», ибо здесь все должно было разрешиться и исполниться, что намечено было в первой части. Поэт намеревался, по окончании «Офтердингена», написать еще шесть романов, в которых хотел изложить свои взгляды на естествознание, на общественную жизнь, на историю, политику и любовь, так же как в «Офтердингене» изложены были его взгляды на поэзию. И без моего указания осведомленный читатель увидит, что в этом произведении автор не считал себя связанным с точным временем или с личностью известного минезингера, хотя все должно напоминать его и его время. То, что он не закончил этого романа—непоправимая утрата не только для друзей автора, но и для искусства; оригинальность романа и его высокий замысел проявились бы во второй части еще более ярко, чем в первой. Не тем он был занят, чтобы рассказать и изобразить то или другое происшествие, развернуть страницу поэзии и пояснить ее образами и событиями. Он хотел, как уже намечено в последней главе первой части, выразить самую сущность поэзии и выяснить ее основные задания. Все—природа, история, война, обычная жизнь со всеми обыкновеннейшими происшествиями,—превращается в поэзию, потому что она дух, все оживляющий.

Я попытаюсь, насколько я сохранил в памяти разговоры с моим другом и насколько мне это выяснилось из оставленных им бумаг, дать понятие читателю о содержании второй части этого произведения.

Поэту, который проник в самую суть своего искусства, ничто не кажется противоречивым и чуждым; все загадки для него разгаданы, волшебство фантазии связывает для него эпохи и миры; чудеса исчезают и все превращается в чудо. Так написана эта книга, и в особенности в сказке, которой заканчивается первая часть, читатель найдет самые смелые объединения. Уничтожены все различия, которыми эпохи казались отделенными одна от другой и вследствие которых один мир казался враждебным другому. Эта сказка введена поэтом для перехода ко второй части, в которой рассказ из самого обыденного возносится в чудесное; обыденное и чудесное взаимно объясняют и дополняют одно другое; дух, который произносит написанный стихами пролог, должен был возвращаться после каждой главы и длить то же настроение, то же волшебное преобразование всего. Благодаря этому, невидимый мир оставался в постоянном сплетении с видимым. Этот говорящий дух—сама поэзия и вместе с тем звездный человек, родившийся от объятий Гейнриха и Матильды. В нижеследующем стихотворении, которое должно было войти в «Офтердингена», поэт выразил в чрезвычайно легкой форме дух своих книг:

Когда не знаки и не числа
Дадут ключи мирского смысла,
Когда певец или влюбленный,
Узнает больше, чем ученый,
Когда на волю мир умчится
И заново к миру обратится,
Когда сияния и мраки
Опять сольются в ясном браке,
И в сказках разгадают снова
Историю пути мирского,
Тогда-то *тайна* здесь прозвучит,
И извращенный мир отлетит.

Садовник, с которым говорит Гейнрих, тот же самый старик, который уже однажды принимал отпа Офтердингена; молодая девушка, которую зовут Цианой, не его дочь, а дочь графа Гоген-

цолерна; она родом с востока, и хотя рано покинула родину, но все же ее помнит. Она долго вела жизнь в горах, где ее воспитывала ее умершая мать. Одного брата она потеряла очень рано и сама однажды очень близка была к смерти, попав в могильный склеп; ее спас необычайным образом один старый врач. Она весела и приветлива и очень сроднилась с чудесным. Она рассказывает поэту историю его собственной жизни так, точно она уже слышала ее когда-то от своей матери. Она посылает его в отдаленный монастырь, монахи которого составляют нечто вроде колонии духов; все там вроде мистической, магической логи. Они жрецы священного огня в молодых душах. Он слышит далекое пение братьев, в самой церкви ему является видение. С одним старым монахом Гейнрих говорит о смерти и о магии; у него являются предчувствия смерти и мысли о камне мудрости. Он посещает монастырский сад и кладбище. О кладбище у него есть следующее стихотворение:

Славьте праздник наш бесстрастный,
Тихие сады и кельи,
И удобную посуду
И добро в домах.
Гости жалуют всечасно
Рано или поздно: всюду
Жаркое горит веселье
На широких очагах.

Тысячи резных бокалов,
Прежде облитых слезами,
Кольца, панцыри и латы—
Это наша дань.
И камней тяжеловесных
Много в подземельях тесных,
И не счесть богатств окрестных,
Хоть без усталости считай.

Населявшие былое,
Древности седой герои,

Сотрясавшие высокий
Голубой эфир,
Девы нежные, пророки,
Старцы дряхлые и дети
Собрались в единой клети,
Видят снова прежний мир.

Не покинет нашей сени,
Нашей участи завидной,
Кто за радостным обедом
Гостем был хоть раз.
Смогли горестные пени,
Раны старые не видны,
Плач томительный неведом,
Вечно длится вечный час.

Горними взволнован снами
В упрении нездешнем
Купол неба перед нами,
Синева—ясна.
Окрыленные покровы
Носят нас по нивам вешним,
Ветер не дохнет суровый,
Неизменна тишина.

Упоенье чар полночных,
Волхвованье сил заочных,
Игр неясных наслажденье
Ведомы лишь нам.
В нашей воле дерзновенье
Исчезать в водовороте,
Распыляться в водомете,
Жадно прилипать к волнам.

Страсть была нам первой жизнью.
Трепетные, как стихии,

Рвемся в жизненные волны,
В буйный сплав сердец.
Сладостно распались волны.
Да, враждебные стихии
Будут страсти высшей жизнью,
Тайным сердцем всех сердец.

Слышим только лепет неги,
Видим только, что блаженно
Опустились долу очи,
Шьем лишь поцелуи уст.
Все, что неприметно тронем,
Вдруг плодом зардеет знойным,
Нежной грудью тихо дрогнет,
Жертвой буйных чувств.

Вечное растет томленье
Милого обнять в волненье,
В сокровенном единенье
Все с любимым слить.
Жажде не сопротивляться,
Вечно гибнуть и меняться,
Лишь друг другом упиваться,
Лишь друг в друге вечно быть.

Так любви и сладострастью
Мы верны в тиши великой,
С той поры, как искрой дикой
Прежний мир потух;
С той поры, как холм закрылся,
И костер угас блестящий,
И навек душе дрожащей
Лик земли закрылся вдруг.

Чарами воспоминанья,
Сладостной и жуткой дрожью

Все пронизаны желанья,
Страсть охлаждена.
Есть нестынувшие раны,
Мы печаль лелеем Божью.
В пламенные океаны
Всех равно вольет она.

В этих волнах мы сойдемся
Все по воле непонятной,
В океане всех явлений,
В Божьей глубине.
Но из сердца мира льемся,
Как и прежде, в круг возвратный;
Дух верховных устремлений
С нами на заветном дне.

Рвите золотые цепи,
Изумруды и рубины,
Драгоценные запыля,
Блеск и звон колец.
Бросьте ложа в душном склепе.
Подземелья и руины,
В розах неземного счастья
Взвейтесь к Вымыслу в дворец.

Если будущие братья
Разгадают, как охотно
Их восторги, их желанья
Делим мы всегда—
Бледное существованье
Все покинут без изъята,—
Люди! время быстролетно!
Милые! скорей сюда!

Кто Земного Духа свяжет,
Кто значенье смерти схватит,

Слово жизни кто укажет?
Прежний мир ушел.
Угнетавший мертвым ляжет,
Свет заемный он утратит,
Сильный сверженного свяжет,
Дух Земной, твой час прошел.

Это стихотворение было, быть может, опять прологом к второй главе. Тут должен был начаться совершенно новый период всего произведения; из тишайшей смерти должна была развиться высшая жизнь. Он жил среди мертвых и сам с ними говорил; книга должна была приобрести почти характер драмы, а эпический тон должен был как бы только соединять отдельные сцены и легко их объяснять. Гейнрих попадает вдруг в беспокойную Италию, расшатанную войнами, и оказывается полководцем во главе войска. Все входящее в состав войны, окрашено поэзией. Он нападает с небольшим отрядом на неприятельский город, и сюда входит эпизод любви знатного пизанца к флорентинской девушке. Военные песни.—Великая война, как поединок, абсолютно благородная, человеческая, проникнутая философским смыслом. Дух старого рыцарства. Рыцарские турниры. Дух вакхической грусти.—Люди должны сами убивать друг друга; это благороднее, чем падать сраженными судьбой.— Они идут навстречу смерти.—Честь, слава—радость и жизнь воина. В смерти, как тень, живет воин. Радость смерти—воинственный дух.— На земле война у себя дома; война должна существовать на земле.— В Пизе Гейнрих встречается с сыном императора Фридриха второго, который становится его близким другом. Он попадает и в Лоретто. Тут должны были быть включены несколько песен.

Буря заносит поэта в Грецию. Древний мир с его героями и сокровищами искусства охватывает его душу. Он говорит с одним греком о морали. Все, относящееся к тому времени, становится ему близким; он постигает древние картины и древнюю историю. Разговоры о греческих государственных системах, о мифологии.

После того, как Гейнрих постиг геройский период и древность, он направляется на восток, куда он страстно стремился с детства.

Он посещает Иерусалим, знакомится с восточной поэзией. Странные происшествия среди неверных задерживают его в пустынных странах; он встречается семью восточной девушки (см. первую часть); тамошняя жизнь кочевых племен. Персидские сказки. Воспоминания о древнейшем мире. Книга должна была среди различных происшествий оставаться одного и того же цвета и напоминать о голубом цветке: вместе с тем все самые отдаленные и разнородные сказания должны были быть объединены: греческие, восточные, библейские и христианские с воспоминаниями и намеками индийской и северной мифологии. Крестовые походы. Жизнь на море. Гейнрих отправляется в Рим. Эпоха римской истории.

Насыщенный опытом, Гейнрих возвращается в Германию. Свидание с дедом, человеком очень глубоким. С ним Клигсор. Вечерние беседы с обоими.

Гейнрих отправляется ко двору Фридриха и знакомится лично с императором. Двор должен был быть изображен очень внушительным; там сошлись лучшие, величайшие и прекраснейшие люди со всего света—и в центре всех сам император. Тут осуществлена величайшая пышность, настоящий высший свет. Разъяснена немецкая история и немецкий характер. Гейнрих говорит с императором о государственной власти, о монархии, ведет темные речи об Америке и Ост-Индии. Взгляды правителя. Мистический император. Книга *de tribus impostoribus*.

После того, как Гейнрих переживает по новому и более возвышенно, чем в первой части—в «Ожидании» — опять то же самое: любовь и смерть, войну, восток, историю и поэзию, он возвращается в свою душу, точно на родину. Из понимания мира и самого себя у него рождается стремление к преображению: полный чудес сказочный мир подступает совсем близко, потому что сердце открылось для понимания его.

В Манесской коллекции минезингеров есть довольно непонятное состязание в пении Гейнриха фон Офтердингена и Клигсора с другими певцами: вместо этого состязания, автор хотел изобразить другой, своеобразный поэтический спор, борьбу доброго и злого начала в песнях верующих и неверующих, в противоположении невидимого мира видимому. «В вакхическом опьянении

поэты восторженно состязаются за смерть». Воспеваются науки; математика тоже вступает в состязание. Поэты славят индийские травы: индийская мифология в новом преображении.

Это последнее деяние Гейнриха на земле, переход к его собственному преображению. Тут разрешение всего произведения, исполнение сказки, заканчивающей первую часть. Все объясняется и завершается самым сверхъестественным и вместе с тем самым естественным образом; стена между вымыслом и правдой, между прошлым и настоящим, пала: вера, фантазия, поэзия раскрывают самую сокровенную глубину внутреннего мира.

Гейнрих приходит в страну Софии, в природу, какой она могла бы быть, в аллегорическую природу, после беседы с Клингсором о некоторых странных знаках и предчувствиях. Предчувствия рождаются в нем главным образом при звуках старой песни, которую он случайно слышит: в ней поется про глубокое озеро в скрытом месте. Эта песня будит давно забытые воспоминания; он идет к озеру и находит маленький золотой ключик, который у него давно украл ворон и которого он так и не мог отыскать. Этот ключик ему дал, вскоре после смерти Матильды, старый человек. Он сказал Гейнриху, чтобы он понес его императору и тот скажет, что делать с ключиком. Гейнрих отправляется к императору, который очень обрадован его приходом и дает ему старинную грамоту. В ней сказано, чтобы король дал ее прочесть тому, кто когда-нибудь принесет ему случайно золотой ключик. Человек этот найдет в скрытом месте старинную драгоценность—талисман, карбункул для короны, в которой оставлено для камня пустое место. Самое место тоже описано на пергаментном листе. По этому описанию Гейнрих направляется к некоей горе. По дороге он встречает чужестранца, который впервые рассказал ему и его родителям про голубой цветок; он говорит с ним об откровении. Он входит в гору, и верная Циана следует за ним.

Вскоре он приходит в ту чудесную страну, в которой воздух и вода, цветы и животные совершенно иного рода, чем на земле. Рассказ превращается местами в драму. «Люди, животные, растения, камни и звезды, стихии, звуки, краски сходятся, как одна семья, действуют и говорят, как один род».—Цветы и животные

говорят о человеке.—«Сказочный мир становится видимым, действительный мир кажется сказкой». Он находит голубой цветок: это Матильда. Она спит, и у нее—карбункул; маленькая девочка, дочь его и Матильды, сидит у гроба и возвращает ему молодость.—«Это дитя начало мира, золотой век в конце его».—Тут христианство примирено с язычеством и воспеты истории Орфея, Психеи и других.

Гейнрих срывает голубой цветок и освобождает Матильду от злых чар; но он снова теряет ее. Оцепенев от скорби, он превращается в камень. Эда (голубой цветок, восточная женщина, Матильда) приносит себя в жертву камню; он превращается в звенящее дерево. Цяна срубает дерево и сжигает себя вместе с ним; он становится золотым бараном. Эда, Матильда должна заклать его, и он вновь становится человеком. Во время этих превращений он ведет удивительные беседы.

Он счастлив с Матильдой, которая одновременно и восточная женщина, и Цяна. Празднуется радостный праздник души. Все предшествовавшее было смертью. Последний сон и пробуждение. Клингсор возвращается, как король Атлантиды. Мать Гейнриха—фантазия; отец—мысль. Шванинг—месяц, рудокоп—антиквар и вместе с тем железо. Император Фридрих—Арктур. Граф Гогенцолерн и кушцы тоже возвращаются. Все сливается в аллгорию. Цяна приносит императору камень, но Гейнрих сам теперь поэт из той сказки, которую ему рассказали прежде кушцы.

Блаженная страна страдает еще только от околдовавших ее чар в том смысле, что она подвержена смене времен года. Гейнрих разрушает царство солнца. Все произведение должно было закончиться большим стихотворением, только часть которого написана:

БРАК ВРЕМЕН ГОДА.

Думой глубокой занят новый монарх. Он припомнил
Сон полуночный свой, давний припомнил рассказ,
Как о небесном цветке он впервые узнал. Пораженный
Правдою вещей снов, замер в могучей любви.
Словно слышит он снова заветный волнующий голос.

Вот он остался один, шумных поклонил гостей.
Беглые блики луны озаряли стучащие ставни,
И в молодой груди жаркий клубился огонь.
— Эдда,—молвил король,—ты знаешь влюбленного сердца
Тайную жажду? Ты—знаешь и муку его?
Скажешь—поможем ему, мы всеильны; веком блаженным
Сделаем время вновь, счастье ты в небо прольешь.
«Ах, времена враждуют! Разве слиться не могут
В вечный и крепкий брак—Завтра, Сегодня, Вчера?
Пусть сольется зима с летом, осень с весною
Старость и Юность в одно, в строгой сольются игре:
В этот миг, мой супруг, иссякнет источник печали.
Сердца заветные сны будут исполнены все».
Так говорила. Король в упоении милую обнял:
— Подлинно изрекла слово небесное ты.
Это слово давно на устах горячих дрожало,
Ты лишь сумела его ясно и четко сказать.
Пусть запрягут скорей коней, мы сами похитим
Года сперва времена, возрасты жизни потом.

Они едут к солнцу и забирают день, затем едут к ночи, потом на север за зимой и на юг за летом; с востока они привозят весну, с запада осень. Затем они спешат к юности, потом к старости, к прошлому и будущему.

Вот что я могу дать читателю по моим воспоминаниям, а также по отдельным словам и намекам в бумагах моего друга. Разработка этого большого плана была бы вечным памятником новой поэзии. Я старался быть сухим и кратким, чтобы не прибавить чего-нибудь из собственной фантазии. Быть может, читателей тронет отрывочность этих стихов и слов, как она трогает меня, который не мог бы с более благоговейной грустью глядеть на остаток разрушенной картины Рафаэля или Корреджио.

Людви Тик

БИБЛИОГРАФИЯ

Первое издание сочинений Новаписа вышло в 1802 г. при ближайшем участии его друзей, Тика и Шлегеля, в 2 томах. Затем в течение 35 лет появилось пять изданий. В 1846 г. при участии E. von Bülow издан был 3-й том. Лучшие научные издания Новаписа, в которых использован рукописный материал архивов Гарденбергской семьи E. Heilborn'a (1901) и Минора (Novalis Schriften, herausgegeben von I. Minor. 4 Bände. Iena 1907 г.)

Литература о Новаписе: Fortlage, Sechs philosophische Vorträge, Iena, 1872. G. Baug, Novalis als religiöser Dichter, Leipzig, 1877. Schubart, Novalis Leben, Dichten und Denken, Güttersloh, 1887. R. Wörner, Novalis Hymnen an die Nacht u. geistliche Lieder, München, 1885. Rother, Novalis als religiöser Dichter, 1886. Bing, Novalis. eine biographische Charakteristik, Hamburg und Leipzig, 1893. Maeterlinck, Les disciples à Sais etc. précédés d'une introduction par Maeterlinck, Bruxelles, 1895. R. Busse, Novalis Lyrik, Oppeln, 1898. Nuber. Studien zu Novalis. Euphorion, 1899 (4 tes Ergänzungheft). E. Heilborn, Novalis, der Romantiker, Berlin, 1901. H. Delacroix. Novalis. La formation de l'idéalisme magique. Revue de Metaphysique et de morale. Mars, 1903. E. Fridell, Novalis als Philosoph, München 1904. E. Spenlé, Novalis, essai sur l'idéalisme romantique en Allemagne. Paris, 1904. Dr. H. Simon, Der magische Idealismus, Heidelberg. 1906. I. Schlaf, Novalis und Sophie von Kühn, München, 1906. I. Schlaf, Christus und Sophie, 1906. W. Olshausen, Fr. v. Hardenbergs (Novalis) Beziehungen zur Naturwissenschaft seiner Zeit, Leipzig, 1905. W. Dilthey, Erlebniss und Dichtung, 1907. Havenstein, Fr. von H's, Aesthetische Anschauungen, 1909. Blei, Novalis, 1904. Willy

Pastor, Novalis (Dichtung, Bd. XVII). Gloege, Novalis „Heinrich von Ofterdingen als Ausdruck seiner Persönlichkeit“ (Teutonia, Hft. 20). I. Minor, Studien zu Novalis, 1911. Paul Riesenfeld, Heinrich von Ofterdingen in der deutschen Literatur., 1912. H. Lichtenberger, Novalis. Paris, 1912 и др.

По-русски: проф. Ф. А. Браун, Новалис (История Западной Литературы, изд. 1-ва Мир, том I, книга 3). В. Жирмунский—Немецкий романтизм и современная мистика. 1914. В. Жирмунский „Роман о голубом цветке“, „Русская Мысль“, 1915, № 3.



Издательство „ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА“.

Вышли в свет и продаются в книжном магазине Издательства „Всемирная Литература“ (Литейный, 56) и в др. книжн. магазинах:

Каталог Западно-Европейской и Американской Литературы.

Каталог Литературы Востока.

Принципы художественного перевода 2-е изд.

Сборник „Литература Востока“ вып. I.

Сборник „Литература Востока“ вып. II.

Основная библиотека:

- | | |
|---------------|---------------------------------------|
| О. ДЕ-БАЛЬЗАК | — „Крестьяне“. |
| ЛИЦЦ БРАУН | — „Письма маркизы“. |
| Г. ГЕЙНЕ | — „Путевые картины“, т.т. V и VI. |
| БР. ГОНКУР | — „Братья Земганно“. |
| Ч. ДИККЕНС | — „Повесть о двух городах“. |
| ВЛ. ИВАНЬЕС | — „Проклятый хутор“. |
| | — „Власть мертвых“. |
| ИБН-ТУФЕЙЛЬ | — „Роман о Хайе“. |
| Ш. ДЕ-КОСТЕР | — „Легенда об Уенншигеле“, ч. I и II. |
| А. Р. ЛЕССАЖ | — „Хромой бес“ и „Тюркаре“. |
| Г. ДЕ-МОПАСАН | — „Милый друг“. |
| | — „Сильна, как смерть“. |
| Г. ФЛОВЁР | — „Воспитание чувства“. |
| | — „Саламбо“. |
| А. ФРАНС | — „Остров Цигвинов“. |
| | — „Восстание ангелов“. |
| Г. УЭЛЛС | — „Война в воздухе“. |
| И. ГЕРДЕР | — „Сид“. |
| Т. ГОФФМАН | — „Музыкальные новеллы“. |
| УОТ УИТМЭН | — „Листья травы“. |
| Е. ЛЕМОНЫЕ | — „Завод“. |
| ЛЯО-ЧЖАЙ | — „Лисьи чары“. |

В целях ознакомления русского читателя с наиболее выдающимися произведениями иностранной литературы за последние годы Издательство „ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА“ приступило к выпуску серии

НОВОСТИ ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.

Вышли в свет и продаются в книжных магазинах:

- | | |
|--------------|---|
| Ж. РОМЭН | — „Доногого-Тонка“, кинематографическ. роман. |
| П. БЕНУА | — „Атлантида“, роман. |
| Г. ДЖ. УЭЛЛС | — „Неугасимый огонь“, роман. |
| Р. РОЛЛАН | — „Колá Бреньон“, роман. |
| Э. СИНКЛЭР | — „Сто процентов“. |

В ближайшее время выйдут:

- | | |
|----------------|---|
| К. ГАМСУН | — „Соки земли“, роман. |
| О. ГЕНРИ | — Избранные рассказы. |
| С. БРЖОЗОВСКИЙ | — „Зарево“, роман из эпохи народовольцев. |
| Д'АННУНЦИО | — „Ноктюрн“, роман. |
| К. ЭДШМИТ | — „Шесть истоков“, новеллы. |
| К. МЕЙРИНК | — „Голем“, роман. |
| Г. ВЕРФЕЛЬ | — „Человек из зеркала“. |
| ЭКСПРЕССИОНИЗМ | — Сборник статей. |
| Р. ГОЛЬСТ | — Лирические драмы. |

Издательство „ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА“.

В непродолжительном времени выйдет № 1 издаваемого „ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ“ иллюстрированного журнала

„ВОСТОК“

под ред. акад. С. Ф. Ольденбурга, акад. И. Ю. Крачковского, проф. В. М. Алексеева, проф. Б. Я. Владимирцова и А. Н. Тихонова.

В журнале—художественно-литературный, научный и критико-библиографический отделы, а также хроника жизни Востока и художественные репродукции с памятников восточного искусства

Печатается № 1 издаваемого „ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ“ журнала

„СОВРЕМЕННЫЙ ЗАПАД“

под ред. Евг. Замятина, А. Н. Тихонова и К. И. Чуковского.

В журнале — переводы стихов и художественной прозы наиболее выдающихся из современных европейских писателей, обзор художественной жизни Европы, отчеты о новейших достижениях западной науки.

В первом номере журнала, между прочим, будут напечатаны: Шпенглер — „Пруссизм и социализм“, роман О. Генри — „Короли и капуста“, рассказы Дюамеля, Мейринка; стихи: Киплинга, Газенаклевера, Клодела; статьи: В. Базарова, А. Дурье, Маринетти, Анри де Ренье, Н. Радлова, А. Эфроса, Н. Эфроса, П. Ерчиковского и др.

Редакция и Контора: Петроград, Моховая, 36.
